

А. Н. ПОТРЕСОВ



В ПЛЕНУ
У ИЛЛЮЗИЙ

ПАРИЖ — 1927

ТОГО ЖЕ АВТОРА :

- 1) «Этюды о русской интеллигенции» СПб. 1906 г.
- 2) «Эволюция общественной мысли в предреволюционную
ху».
«Общественное движение в России в начале XX в.Том 1.
СПБ. 1909).
- 3) «П. Б. Аксельрод. 45 лет общественной деятельности»
Б. 1914 г.
- 4) «Война и вопросы международного демократического соз-
ния». Петроград. 1916 г.
- 5) «Интернационализм и космополитизм». Петроград. 1916 г.

Б. Роденко
1927

047135740
21820710333

А. Н. ПОТРЕСОВ

В ПЛЕНУ У ИЛЛЮЗИЙ

(МОЙ СПОР С ОФФИЦИАЛЬНЫМ МЕНЬШЕВИЗМОМ)

ПАРИЖ
1927

329.14(470)

Книжка "Меньшевизм-изменничество Сталин"



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
1. Несколько вступительных замечаний о болезнях революции и больном меньшевизме	5
2. Меньшевистские тезисы 20-го года	9
3. Большевизм сквозь очки платформы 24-го года	33
4. Что у меньшевизма остается вне поля его зрения? ..	60
5. Вероятные лейтмотивы послебольшевистской эпохи	76
6. Готов ли меньшевизм к предстоящей ему переэкзаменовке истории?	93

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Обычно с «того света» не возвращаются. И однако, вот именно с «того света» я опять прихожу на общественную сцену и, после многолетнего анабиоза в плену у большевиков и болезни, вновь «дебютирую», — имея за своими плечами больше тридцати лет литературно - политической деятельности! И «дебютирую» — своим спором с официальным «большинством» моей партии — меньшевистской социал-демократии.

Но именно потому, что я — как это ни звучит парадоксально в настоящий момент — «дебютирую», я вынужден для «послерожденных» и просто забывающих людей установить некую историческую метрику того умонаправления, выражением которого является настоящая работа.

Так называемое «правое» течение в меньшевизме родилось более десяти лет тому назад, как реакция против максималистского полевения, в то время, в связи с войной, начавшего впервые давать себя чувствовать в широких партийных кругах.

Уже в 15-м и 16-м годах пишущему эти строки приходилось сначала в петербургской «Нашей Зарь», а потом, после ее закрытия правительством, в московском журнале «Дело», а также в отдельных брошюрах, развивать свою точку зрения, отличную от идей Мартова и его ближайших соратников.

Расхождение обострилось, когда вспыхнула революция 17-го года и максимализм стал делать дальнейшие завоевания в партии. Ко времени октябрьского переворота и выборов в Учредительное Собрание стало выдвигаться и все опре-

деленнее доминировать над партийным «центром» мартовское «интернационалистское» крыло. Ему же с другой стороны в противовес сформировалось и наше «правое» течение..

Большевицкий террор и последовавшая затем общественная депрессия нарушили непрерывность этого течения, нарушили, но все же не смогли окончательно заглушить проявлений протеста против-возобладавшего в партии круга идей; проявлений, преимущественно восходящих к правому течению 17-го и 18-го годов.

Проявлением такого протеста в кругах социалдемократов, не входивших тогда в состав партийной организации, являлась группа «Зари», журнала, издававшегося Ст. Ивановичем с 1922 по 1925 г. А в меньшевистской среде, партийно-организованной, аналогичную роль, хотя и несколько иного оттенка, сыграла и играет внутри-партийная оппозиция, литературно возглавляемая П. Гарви.

Теперь и я, возвращаясь с «того света», подаю — по своему — свой голос протеста и возобновляю ту старую идейную борьбу, которую я когда то вел с партийным утопизмом и которая — к величайшему моему прискорбию — и до сих пор еще не изжита.

Такое смысл моего «дебюта».

А. П.

23 апреля 1927 г. Париж.

1.

**НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХЪ ЗАМЕЧАНИЙ
О БОЛЕЗНЯХ РЕВОЛЮЦИИ И БОЛЬНОМ
МЕНЬШЕВИЗМЕ.**

Не знаю, наступит ли когда нибудь для русской революции время, когда окажется возможным расценивать ее с бесстрашием летописца. Ведь, для великой французской революции это время не настало еще и до сих пор. И до сих пор еще — на расстоянии почти полутора века —, читая несчетные исследования, ей посвященные, чувствуешь в исследователе то прокурора, то адвоката. Даже наш 20-ый век, казалось бы, так далеко ушедший от эпохи крушения французского феодализма, все еще ищет для своих злободневных надобностей аргументов у прошлого. И до сих пор еще всякого рода общественные симпатии и антипатии мешают взглянуть на кровавую драму конца XVIII века глазами нелицеприятного ученого. До сих пор еще спорят о подлинной, не легендарной роли в поступательном ходе истории тех или других течений революции...

А между тем, российская катастрофа куда шире французской и по своему охвату, и в особенности, куда глубже, радикальнее, по предпринятой ею перестройке и осуществленному разрушению. Претендовать, поэтому, на нелицеприятие в оценке русских событий было бы в настоящее время ничем не оправданным легкомыслием или злостною фальшью. Всякий тот, кто пишет сейчас о России — если только он не являет собою живого мертвеца или запродавшего душу наем-

ника, больше чем когда либо подтверждает собою известный афоризм - самохарактеристику Берне — о писателе, пишущем «кровью своего сердца и соком своих нервов».

И, однако, момент исходного толчка, перевернувшего вверх дном гражданское самосознание России, уже отходит от нас в почти десятилетнюю даль и состояние длительного гипноза начинает как будто - бы уступать место критическому рассмотрению. Не только потому, что субъективные чувства писателя мало по малу обрели известное равновесие. И не потому, что читатель в настоящее время также более способен, чем прежде, слушать слово, идущее в разрез с лейтмотивами эпохи революционного кризиса, но прежде и больше всего потому, что десятилетняя давность — как ни как — накопила свой десятилетний опыт, и этот опыт, как кислота на ржавчину, уничтожающе действует на фантазмогорический мир, рожденный психикой, утратившей меру вещей в водовороте событий.

Вот разобраться то в этих двоякого рода воздействиях эпохи революционного кризиса на общественную мысль я и ставлю себе целью настоящей работы. Надо подвести итог как порождениям революционной фантастики, так и приобретениям отрезвляющего опыта. Выучка жизни была жестока, но бесконечно велико и упорство предубеждений, не желающих принимать к сведению и исполнению неумолимых велений действительности. Консерватизм чувства и мысли продолжает еще свое сопротивление и мне предстоит дать картину незаконченной все еще борьбы двух начал, характеризующей приближение финальной развязки эпохи.

При этом заранее оговариваюсь: я концентрирую свое внимание на мысли марксистской, на идеологии социал - демократии. Я намеренно ставлю свою тему в эти строго очерченные рамки, ибо полагаю, что только в этих рамках существовало к моменту войны и ре-

волюции не только в русском, но и в международном масштабе разработанное и цельное мировоззрение, дававшее ответы на все основные вопросы общественного развития. И поэтому, только по тем сдвигам, которые испытало это мировоззрение в лице многих и выдающихся своих представителей, можно судить о силе постигшего нас землетрясения и о той пропасти, которая отделяет наше время от довоенной и дореволюционной эпохи.

Но кроме об'ективных моментов, есть, разумеется и моменты суб'ективные, определившие это устремление моего внимания. Мне, старому марксисту, стоявшему у колыбели русской социалдемократии и проделавшему в меньшевистских рядах весь свой жизненный путь вплоть до той роковой черты, когда меньшевизм в своем официальном выражении идеологически и политически капитулировал перед всесильным поветрием, — мне слишком близки дальнейшие судьбы русской социалдемократии, чтобы я мог оставаться равнодушным зрителем и не попытаться внести свой посильный пай в дело, несомненно предстоящего, хотя и задержавшегося, оздоровления социалдемократии.

Уже сейчас коммунистическая власть, загнав меньшевистскую социалдемократию в подполье, томя ее практиков по тюрьмам и ссылкам и ни шагу не делая навстречу ее вождям и теоретикам, перед затуманенным взором которых все еще маячит неправдоподобная перспектива демократизации советской деспотии с меньшевистской помощью, — уже сейчас эта власть во многом выпрямила кривую меньшевистской эволюции. Беда, однако, в том, что оздоровляющая практика жизни все еще продолжает упираться в стену законченной идеологии, сложившейся в период максимальной революционной фантастики. Наследие безумных лет душит меньшевистскую мысль и не дает ей достаточно быстро и всесторонне усваивать те горькие истины, которыми

сейчас через край переполнен пресловутый большевистский эксперимент над израненным телом России. Тем необходимее очная ставка между этим наследством и неотвратимым свидетельством истекающего десятилетия. Тем важнее подойти с анализом к комплексу идей, которые являются предпосылкой не только меньшевистской текущей политики, но — по частям и во всяких комбинациях — имеют еще и до сих пор обращение в гораздо более широких кругах партийной и непартийной демократии различнейших толков.

МЕНЬШЕВИСТСКИЕ ТЕЗИСЫ 20-го ГОДА.

Гражданская война, как источник социальной революции. — Власть большинства или диктатура меньшинства? — Ревизия демократизма. — Пролетариат в роли опекуна и крестьянство в роли опекаемого.

Прежде всего перед нами вопрос — о с о ц и а л ь н о й р е в о л ю ц и и. Если в предыдущие полвека социальная революция оставалась в туманной дали неизвестного будущего, и теоретическая мысль лишь в виде редкого исключения поднимала, и больше в академической форме, конкретные вопросы, связанные с переходом власти в руки социалистического пролетариата, то совершенно обратное наблюдаем мы теперь, в момент послевоенного революционного кризиса и первых головокружительных успехов большевизма в России и отчасти в Европе. Пример России, захваченной большевиками, переворачивал все привычные понятия. Социальная революция с высоты своей традиционной малодоступной позиции «конечной цели» движения вдруг соскочила как будто на землю и стала текущим повседневным, банальным занятием. Правда,—занятием гражданской войной, то там, то здесь сверкавшей своими блуждающими огоньками.

Для большевиков в их победном умонастроении все было ясно и просто, — упрощено их российской удачей. Через крушение капитализма, через гражданскую войну к новому социальному строю — немедленно и повсеместно! Социальная революция выходит за

пределы Европы и ее бунтующий клич властно звучит на всем земном шаре. Тут нет места сомнению. Нет места оглядке на свою исходную старую «умственность», на свою теоретическую совесть, с которой, впрочем, большевизм и раньше не любил церемониться...

Ну, а что же меньшевизм, действительно теснейшим образом связанный с реалистическим учением Маркса и с десятилетиями выработанной практической мудростью международного социалистического движения?

Меньшевизм, увы, вступал в революцию с величайшим надрывом в своей идеологии, в своей политической психологии. Он был надломлен и раздвоен войной. Он испытал жестокое разочарование, ощутив бессилие и несостоятельность Интернационала перед лицом мировой катастрофы. И он окончательно потерял равновесие, когда большевикам удалось взойти на российский престол и без дальних разговоров разогнать Учредительное Собрание. Вотъ тогда то его левое «интернационалистское» крыло, еще недавно находившееся в меньшинстве, сразу очутилось господином положения в партии, и стала быстро складываться новая идеология, рожденная в грозе и буре. Покойный Мартов со свойственным ему талантом придал ей законченную и яркую форму и знаменитые «апрельские тезисы» 20-го года*), получившие официальную санкцию на партийном совещании в Москве, сделались символом веры для всего пореволюционного меньшевизма вплоть до наших дней, как это совсем недавно еще авторитетно засвидетельствовано в «Социалистическом Вестнике» Ф. И. Даном**).

Так вот в этих то «тезисах», «принципиальная ли-

*) См. тезисы Ц. К-та «Мировая соц. революция и задачи социалдемократии» в «Сборнике резолюций и тезисов Ц. К-та Р. С. Д. Р. П. и партийных совещаний». Изд. Глав. Ком. Р. С. Д. Р. П. на Украине. Харьков 1920 г.

***) См. Ф. Дан «Линцкая программа, «С. В.» № 22. За 1926 г., где между прочим говорится, что «принципиальная линия», формулированная Мартовым «в знаменитых апрельских тезисах 1920 года», «лежит в основе платформы нашей партии».

ния» которых, по словам Дана, «легла в основу платформы «Венского Об'единения» и лежит в основе платформы нашей партии», — о социальной революции говорится, как о явлении уже существующем, а не только чаемом и ожидаемом, как о процессе начавшемся в международном масштабе.

Каковы же отличительные признаки этой революции, ее характерные черты?

Выноски.

Первое, что надо отметить, это, что она родилась, по концепции автора тезисов — не из роста производительных сил, как полагала до сих пор марксистская мысль, а в результате страшного по своим размерам и интенсивности истребления этих сил четырехлетней войной.

Как гласит первый пункт этого манифеста пореволюционного меньшевизма, именно развитие, «приведшее к катастрофе мировой войны» и «опустошению всего европейского континента» и «создало в мировом масштабе предпосылки для социальной революции». Эти предпосылки: 1) объективная невозможность восстановления истощенного войной народного хозяйства при сохранении прежних форм производства, распределения и т. д. 2) революционизирование войной трудящихся масс и невозможность их удовлетворить иначе, как посягая на доходы нанимателя, 3) невозможность упрочить мирь.

Идея происхождения социальной революции не из переростания отношений производства производительными силами, не от полнокровия, а от худосочия, еще более подчеркивается мыслью, что социальная революция, благодаря экономической взаимозависимости стран, распространяется и на страны отсталые, где она является результатом «вызванного войной обнищания классов, падения производительных

сил», «крайней дезорганизации механизма классового государства»...

Но и там, и тут, и в передовых, и в отсталых странах, в органической связи с идеей истощения и хаотизации общественной жизни, как предпосылки перехода от капитализма к социализму, стоит «политическая революция» в качестве «решающего момента», обязательного при всем разнообразии возможных проявлений процесса по отдельным странам. При этом тут же поясняется, что понимать под «политической революцией».

«Эта политическая революция не может быть совершена средствами легальной борьбы в рамках государственных учреждений буржуазного общества, поскольку правящее капиталистическое меньшинство, обладающее военными и материальными средствами господства, окажет сопротивление легальному переходу государственной власти в руки трудящихся. Поэтому готовность и способность безвластного большинства насильственно свергнуть властное меньшинство является условием социальной революции».

Так, с известными, правда, оговорками («поскольку»), мы подводимся к выводу, единственно в сущности вероятному в обстановке, преподносимой нам в качестве «предпосылок социальной революции». К выводу, что политическая революция есть гражданская война или что гражданская война есть по меньшей мере одна из возможных форм политической революции.

Гражданская война, как увертюра к социалистическому преобразованию общества, не смущает, однако, меньшевиков «апрельского совещания» и не подымает в них тревожных сомнений относительно осуществимости социалистического преобразования при таких предпосылках. И это естественно: кто сказал А, должен сказать и Б, — как гласит старинный немецкий афоризм, — и легко при случае договорит весь алфавит до конца. Кто раз поверил, что разрушительная мировая война созда-

ла предпосылки для социальной революции, для того уже нет ничего невозможного в том, что большевистская власть в России есть, правда, плохое, но все же реальное начало великого процесса социальной революции.

Не даром инспирированный меньшевиками Венский Интернационал при самом своем зарождении, обращаясь «к социалистическим партиям всех стран» (в январе 1921 года), первым же делом выступает в защиту «российской советской республики», этого «продвинувшегося вперед отряда социальной революции»...

И только Каутский в те годы в числе немногих, противостоя тому помрачению умов, тому разложению социализма, которое неудержимо шло из Москвы, подкупая наличностью совершившегося факта упроченного господства коммунистической диктатуры, — только Каутский поставил ребром вопрос о несовместимости пролетарской социальной революции, в противоположность прежним буржуазным революциям, с гражданскими войнами.

«Во времена буржуазной революции — пишет Каутский в 1922 году в своей книге «Пролетарская революция и ее программа» — отношения производства еще так просты по своей природе, что они способны выдержать и серьезное потрясение. Правда, гражданская война и террор оказывают вредное действие на процесс производства, но это лишь кратковременно. Экономическое освобождение, совершенное революцией, так много включает в себе сил, что оно этот вред весьма скоро преодолевает. После революции производство скачками идет вверх, наступает эра процветания. Благодаря этому революция в памяти всей нации сохраняется, как счастливое событие, которым гордятся. И она продолжает даже и неимущим слоям, в ней побежденным, казаться первой попыткой их освобождения, которую они вскоре продолжат, лучше подготовившись. Процесс же производства, господствующий во время пролетарской рево-

люции, напротив того, в высшей степени по своей природе сложен и чувствителен. Всякое грубое вмешательство со стороны дилетантов или тем более безграмотных людей грозит ему приостановкой. Остановка же производства означает его смерть».

«Потому — прибавляет Каутский — там, где в пролетарской революции одерживают верх «радикальные» элементы, «подбивающие» ее «идти дальше» в деле безудержного разрушения «старого», дабы дать простор новому, там революция заканчивается не только безутешным сожалением об исчезнувших иллюзиях, лопающихся подобно блестящим мыльным пузырям, но и полнейшим экономическим крахом, как это мы только что должны были с ужасом наблюдать в России».

И если Каутский тем не менее сохраняет свой оптимизм, если он продолжает, несмотря на устрашающие предупреждения, твердо верить в социалистический исход нашей капиталистической эры, то именно и только потому, что он непоколебимо убежден, что демократический путь «нормален» для пролетарской революции, что он для нее типичен и что он то и даст возможность осуществиться социалистическому преобразованию, этой деликатной операции, не выносящей потрясений гражданской междуусобицы.

Когда Каутский высказывал эти свои мысли в «Пролетарской революции», его голос был довольно одинок в социалистической Европе и, пожалуй, походил на «глас воиющего в пустыне». Но с тех пор не даром прошло еще пять тягостных лет продолжающегося экспериментирования большевиков с Россией. И в результате первоначальный соблазн начинает как будто бы превращаться в свою прямую противоположность. Кто-то из тех, что недавно еще с нелишенным сочувствия любопытством взирали на маневрирование «продвинувшегося вперед отряда социальной революции», говорит уже теперь об этом маневрировании, как о доказа-



тельстве от обратного, как о примере того, чего не следует делать, чего во что бы то ни стало нужно избежать. Так, в классические времена древней Греции благородные спартиаты избирали пьяного илота предметом своего наглядного нравоучения...

Отто Бауэр несомненно принадлежит к властителям дум современного левого — левее Каутского расположившегося — крыла Интернационала. Он еще чуть ли не вчера готов был с удовлетворением перечислять исторические заслуги большевизма, и даже, комментируя новую линцскую программу австрийской социалдемократии, не преминул найти в ней след благотворного теоретического влияния большевизма, — в вопросе о так называемой пролетарской гегемонии над непролетарскими - мелкобуржуазными - слоями населения. Тем многозначительнее в его устах соображения, являющиеся как бы непосредственным продолжением тех мыслей Каутского, о которых мне только что пришлось упомянуть.

Оказывается, и согласно Отто Бауэру гражданская война есть величайшее препятствие для социалистического преобразования.

«Я скажу вам, говорит он в своей вступительной речи на линцском партийном съезде, (См. «Arbeiter Zeitung» от 2-го ноября 1926), почему я считаю вопросом принципиально решающим, чтобы признание только оборонительной роли насилия было выражено в нашей программе ясно и недвусмысленно.

Что такое насилие? Насилие это не просто уличная стычка. Насилие — это гражданская война!»

А гражданская война страшна не одними только ужасами присущими всякой войне, не одним только человеческим кровопролитием. «Есть также и в высшей степени серьезные экономические соображения», которые «наводят» Отто Бауэра «на этот ход мыслей».

«Гражданская война это голод, гражданская война — разорение хозяйственной жизни, вынуждающее победившую социалистическую власть взять на себя задачи, которые она не в состоянии выполнить. Гражданская война — это значит, что даже и в случае победы, социализм впродолжение целого поколения не только не может принести улучшения хозяйственного положения, но он должен принести ухудшение, потому что разрушение хозяйственной жизни есть нечто несравненно большее, чем конфискация прибавочной стоимости. Кто это раз понял — а это относится к России, относится и в гораздо большей еще степени к сложному хозяйственному аппарату европейского промышленного государства, — тот поймет, что значит насилие... Конечно, пролетариат, которому не оставляют другого выбора, будет защищаться, раз нужно выбирать между победой и рабством, но самоцелью насилие быть не может. И тот, кто разсуждает так, как если бы вся победа пролетариата его не радовала, раз она не завоевана в гражданской войне, тот глупый романтик, не сознающий своей ответственности перед жизнью целых поколений».

Есть, наконец, и политические соображения, заставляющие Бауэра, прислонясь к демократии, выступать самым резким образом против гражданской войны. Но о них мы сейчас не говорим. Сейчас нам лишь важно отметить, что европейский социализм, как об этом свидетельствуют примеры Карла Каутского и Отто Бауэра, этих, столь во многом не сходных друг с другом, мыслителей, — не напрасно прожил последнее десятилетие. Он сумел вобрать в себя и по своему перевернуть печальный опыт с Россией и сделать соответствующие выводы решительно и до конца — ликвидировать идею пригодности гражданской войны, как орудия для социалистического преобразования современного народ-

ного хозяйства, этого сложного и хрупкого продукта капиталистического развития.

К сожалению, мы это приобретение европейской социалистической мысли напрасно стали бы искать в официальных декларациях русского меньшевизма. Он продолжает по прежнему, следуя апрельским тезисам 1920-го года, быть свободным от всякого теоретического раздумья и практических тревог по этому важному поводу.

Мы в этом убедимся, когда разберем второй необходимый этап в той концепции социальной революции, т.е. социалистического преобразования, которая имеет своим исходным положением гражданскую войну. Я разумею так называемую диктатуру пролетариата.

Диктатура пролетариата, вне всякого сомнения, есть термин марксистской литературы, совершенно и до конца переживший себя, но хранящий в своем существе пиэтет, который внушали к себе, несмотря ни на что, традиции великой французской революции даже и новейшей гораздо более поздней социалистической мысли... Это была своего рода дань прошлому, окруженному ореолом легенды и безобидная до тех пор, пока это прошлое казалось чем то неповторимым, не могущим воскреснуть в радикально изменившейся обстановке современной общественности.

Но, делая подобный терминологический реверанс буржуазной революции, социализм, связанный с пролетарским движением последнего полувека, отнюдь не помышлял для своей «социальной революции» о новых «комитетах общественного спасения», о реставрации Робеспьеров и С. Жюстов. Он имел лишь в виду, что для того, чтобы совершить и быть способным совершить социалистическое преобразование общества, пролетариат должен ко времени перелома истории оказаться у власти — не деля этой власти ни с кем в качестве представителя подлинного большинства населения. Представитель

же подлинного большинства в противоположность «революционному меньшинству», желающему навязать свою волю стране, не нуждается ни в каких суррогатах народовластия, ни в какой «диктатуре» в буржуазно-революционном, т. е. первоначальном и точном смысле этого слова. Конечно, меньшевизм периода революционного кризиса был как нельзя лучше знаком с содержанием, вкладываемым социалистической мыслью в эту старомодную оболочку. И, конечно, он и не думал отречься от этого содержания, пытавшегося обезвредить зловредный якобинский пережиток. Он по-прежнему отвергал «диктатуру» меньшинства, усматривая в ней «величайшую опасность как революционному развитию рабочего класса, так и успехам социального переворота».

И по-прежнему провозглашал «самую широкую свободу идейной борьбы», «последовательно проведенное сверху до низу народовластие», не осуществимое благодаря целому ряду причин при «капиталистической демократии». Но он не явился бы детищем своего времени, кульминационным выражением которого был большевизм, если бы он не внес в свою подновленную идеологию элементов, не имеющих ничего общего с духом социалистического демократизма, вернее элементов, идущих с ним вразрез, ему прямо враждебных и в корне его подрывающих. Он «разъяснил», он «ревизовал» свой демократизм теоретически и практически.

Теоретически экскурсия в философию истории должна была послужить основой тому выводу, что «демократической сущности классовой диктатуры в принципе не противоречит лишение прав гражданства или ограничение этих прав для социальных групп, стоящих вне этой демократии, т. е. вне общественного производительного труда».

Обоснование: возникла же «буржуазная демократия, как демократия равноправных собственников и лишь под революционным давлением стоящего вне ее класса

— пролетариата — уступает в большей или меньшей степени политические права последнему?» Образовалась же «свободная республика Америки», «как демократия белой расы», исключавшая цветных? И отсюда обобщение: «всякая демократия исторически ограничена рамками определенных социальных групп, в пределах которых и осуществляет демократические принципы.» А стало быть, и рабочая демократия имеет свой круг, где она функционирует, это — «демократия участников общественного производительного труда».

«Следовательно, отрицание за трудящимися классами права на такое исключение или ограничение и апелляции против них к абсолютным демократическим идеалам не выдерживает критики» — заключает меньшевизм.

В сравнении с категоричностью этой теоретической *soi disant* «декларации прав» «трудящихся» (права на лишение права!) практическая сторона пересмотра старой идеологии отличается относительной скромностью, я бы даже сказал — стыдливостью, как бы стремясь по возможности затушевать реальное значение тех умопостижимых скорпионов для буржуазии, которые, следуя из этой декларации, тем самым наносили гораздо более жестокий ущерб чувству морального превосходства и общественной неуязвимости, искони присущему до сих пор социалистическому движению.

Лишение, де, прав не обязательно, мера, де, временная, и пролетариат, де, не склонен самозамыкаться, а напротив с течением времени непременно впитает в себя чужеродные элементы!..

Но практическая сторона этого социального грехопадения меньшевизма измеряется, конечно, не предположительным числом буржуазных жертв и возможной длительностью классового безправия, распланированного в бессильном документе партии, в своих руках не имеющей даже и тени какой либо власти. Она измеряет-

ся тем символическим, а стало быть и политическим, шагом, который ео ipso делал меньшевизм навстречу укреплявшейся власти, вольным или невольным жестом солидаризации с практикой, метившей на словах в «буржуя», а на деле — лишавшей прав всю страну, отправлявшейся от частичного, классового безправия и дошедшей до безправия всеклассового, универсального.

Что и говорить, несмотря на весь свой оппортунизм в отношении к большевистскому эксперименту, меньшевизм даже и в чаду революционного кризиса не мог в своей теории идти до конца вслед за практикой закрепления всенародного безправия, легшей в основу режима, напряженностью своего деспотизма превзошедшего все европейские монархии истекшего века. Но меньшевизм, признавший в принципе допустимость — хотя бы и временную, хотя бы и частичного бесправия, отрезал себе также и путь радикального, безусловного, сплошного, принципиального отрицания всех подобных покушений на права «человека и гражданина». Для него эти «неотъемлемые» права «человека и гражданина» превзойденная метафизика «абсолютных демократических идеалов», которую он заменяет трезвенной, умеренной и аккуратной утопией (бывают и такие утопии на свете!) — утопией приспособления к большевистской эпохе, утопией проектирования изобретенного им способа предохранения диктатуры от грозящего ей вырождения.

Для этого «в переходный период гражданской войны» проект рекомендует дуалистическую систему общественности.. Проводится демаркационная линия между классами праведными — «трудящимся большинством» и классами грешными — врагами пролетариата, туеядцами, буржуями. По одну сторону, если не ад, то во всяком случае чистилище безправия, по другую — рай «полного господства начал демократии и свобод внутри самого трудящегося большинства»...

Трудно представить себе более наглядный образчик того помрачения даже и очень светлых умов, которое произошло в России в связи с революционным кризисом и особенно под давлением большевистских успехов, — чем эта надуманная комбинация, к которой, с какой стороны ни подойти, всюду найдешь вопиющее, прямо оскорбительное пренебрежение самыми заветными идеями и чувствами международной социалдемократии.

Я понимаю, что во время гражданской войны, когда идет обоюдная расправа, то в хаосе, этой расправой созданном, может исчезнуть всякая общественность, и произвол уничтожит даже и след законности, сотрет всякую попытку регулировать жизнь какими либо нормами.

Но для таких моментов проекты не пишутся и нормы не сочиняются. Хотя и в такие моменты, в самый разгар как гражданской, так и обыкновенной войны считается предосудительным чинить насилие не над вооруженным неприятелем, а над всем населением, над обывателем, лишь за одну принадлежность к враждующей национальности, к воюющему государственному целому. Тем более предосудительно, я бы сказал — зазорно, — сочинять для общественности, уже до некоторой степени вошедшей в свои берега и требующей норм для своего функционирования, — зазорно устанавливать двойную мерку, проводить демаркационную линию между законопослушными и законостроптивыми не по индивидуальному признаку реально содеянного, а по одной простой прикосновенности к данному классу.

Ты буржуа, стало быть уже в силу этого ты виноват и лишаешься прав, как обычно лишается прав уголовный преступник!...

Для большевистского миропонимания такая точка зрения была бы совершенно в порядке вещей. Но ей



нет и никогда не было места ни в теории, ни в практике современного социалистического движения. Буржуа есть классовый враг, с которым нужно вести непрестанную упорную борьбу и которого в конце концов придется экспроприировать. Но это не преступник и не паразит, и грош была бы цена всему классу капиталистов и можно было бы свободно не считаться с его сопротивлением, если бы он, действительно, был лишь паразитом, бездельником, а не занимал определенного места, не выполнял необходимых до поры до времени функций в аппарате народного хозяйства.

Одно из двух: или данная общественность созрела для уничтожения класса капиталистов, который уже стал никому не нужен, тогда ликвидация этого класса дело сравнительно нетрудное и может протекать без экстраординарных насилий над правовыми и моральными основами всякой общественности. Или эта общественность не созрела для ликвидации, тогда буржуа есть винт в общественном механизме, без которого нельзя обойтись и, уничтоженный сегодня, он возродится завтра, как это мы видим сейчас в нашем злополучном отечестве. Но и в том, и в другом случае «трудящемуся большинству» не пристало, ни с точки зрения своего морального достоинства, ни с точки зрения элементарной целесообразности, совершать даже и в области права суммарные убийства, во истину готтентотские поступки (да простят нам г-да готтентоты, если их оклеветали), следуя формуле анекдотического чернокожего, который говорил: когда я украду чужую жену, это добро, и зло, когда у меня украдут мою собственную...

Мне страшен тот непомерно огромный путь регрессивного метаморфоза, который проделала мысль не только заправских готтентотов революционного движения — коммунистов - большевиков, но и моих старых друзей и товарищей, меньшевиков социалдемократов, когда они шлепаются в эти низины с высот, к кото-

рым всех нас приучали старики, классические марксисты социалдемократы.

Я вспоминаю незабвенного Августа Бебеля, который любил заявлять, что социалдемократы идут со своей вестью освобождения ко всем, кто носит человеческий облик (*was Mensch nantlitz trägt*) и который не споткнулся бы в своем социальном идеализме о какое бы то ни было злоумышляющее классовое меньшинство, которое де нужно обзвредить и приравнять в безправии к преступникам — для торжества социалистических взглядов и утверждения так называемой «диктатуры пролетариата».

Программное «кредо» меньшевиков не без иронии говорит об «апелляции», с которой обращаются «отрицающие» за «трудящимися классами» «прав» на «исключение» из гражданства целых общественных категорий или классов, — об апелляции их к «абсолютным демократическим идеалам».

Меньшевицкое «кредо» ошибается. Апелляция направляется не по адресу каких либо вневременных ценностей, а по адресу ценностей, созданных временем, историческим прогрессом, завоеваниями общественной мысли, и не только социалистической, но и буржуазной. В том то и дело, что «цивилизация» при всех своих противоречиях, в ходе общественной борьбы, создала не только научные истины и технические достижения, но и некоторые социальные чувства, мысли, понятия..., над которыми, их сооружая, поработали самые разнородные строители, вкладывая каждый свой особый кирпич в эти своеобразные коллективные постройки человеческого интеллекта и человеческой психики. Так в частности был построен даже и научный социализм. Не даром Маркс и Энгельс, общепризнанные отцы научного социализма, могли справедливо отметить, что этот социализм ведет свое происхождение не только от соц.-тов С. Симона, Оуэна, Фурье, но и от буржуазных мыслителей, Канта и Гегеля.

Но справедливое применительно к законченному общественному учению, к определенно очерченной исторической доктрине, в гораздо большей еще степени применимо к тем общественным понятиям и чувствам, которые, сформировавшись на перекрестке противоборствующих общественных сил, становятся с ходом развития все больше и больше необходимым достоянием всякой современной культурной общественности, ее обязательными предпосылками.

Они могут и не облекаться в догматический костюм теории, но они разлиты всюду в общественном сознании и составляют активный элемент общественного чувства.

Вот такой то все более властной предпосылкой современной общественности выступает в настоящее время между прочим и тот комплекс понятий и чувств, который известен, как демократический.

И если в «доброе старое время» можно было говорить о демократии привилегированных, если недавно еще безправное, стоящее за пределами ценза, население покорно равнодушно терпело соседство полноправных цензовиков, то теперь — по случаю «диктатуры пролетариата», реальной или мнимой — толковать о создании (хотя бы и временном) ценза наоборот и вспоминать при этом об историческом происхождении буржуазной демократии, как демократии собственников — (недоставало только того, чтобы вспомнили и «демократию» древних времен, «демократию» рабовладельцев) — можно лишь в том состоянии пониженной ответственности, в каком, очевидно, находились русские люди — а может находятся и по сей час, — в веселые расплывские дни большевизма...

Но откуда же пришли меньшевизму эти несчастные мысли, эта потребность непременно связать так называемую «диктатуру пролетариата» со столь одиозными актами?

Достаточно внимательно теперь перечитать исторический документ, программное кредо меньшевиков, чтобы понять источник грехопадения.

Меньшевистское кредо все время упорно говорит о «диктатуре» большинства, отвергая самым решительным образом всякую другую «диктатуру», как «величайшую опасность» и для «революционного развития рабочего класса», и для «успехов социального переворота». И однако фактически, когда кредо оперирует с содержанием диктатуры, когда оно рисует ее предполагаемое функционирование, его взору навязчиво предносится не безтелесная абстракция — диктатура большинства, а облеченная в плоть и кровь, самая реальная и исторически осуществленная диктатура несомненнейшего меньшинства.

И в сущности, само меньшевистское кредо делает косвенно это признание, замечая, что «ограничение демократии лишением или ограничением прав непроеизводительных групп населения (в сфере избирательного права, свободы печати и т. д.)», «навязанное пролетариату», как временная мера гражданской войны, «прежде всего» «свидетельствует» о «временной слабости и неуверенности самой классовой диктатуры, которая еще недостаточно воспринята большинством населения, как его собственная власть». (Курсив мой А. П.).

Итак диктатура большинства с такими антидемократическими повадками, при ближайшем рассмотрении, обернувшись в диктатуру меньшинства, оказывается всего на всего лишь общественно политическим недоразумением.

Мало того, мы далее узнаем, что «чем в большей мере обстоятельства гражданской войны навязывают социалистическому пролетариату подобные меры, тем несомненное, что либо социально-экономические предпосылки для коренного социально-экономическо-

го преобразования в данной стране недостаточно развиты; либо, что сами трудящиеся массы субъективно еще не вполне усвоили историческую задачу своего революционного движения.»

Спрашивается: как же понимать эти взаимно нейтрализующие суждения?

Диктатура большинства и — диктатура не большинства!

Субъективные и объективные предпосылки социальной революции даны и в то же время они еще не даны, их еще не имеется — и в этом все горе!

Перед нами чрезвычайно редкостный случай, когда со столбцов программных тезисов, сквозь сухой и бесстрастный стиль языка резолюций, звучит взволнованный спор противоборствующих элементов в раздвоенной душе меньшевизма, когда придушенная большевистским гипнозом тщетно бунтует марксистская традиция, кричит не совсем помутненное сознание.

Раздвоение психики дает раздвоение идеологии, ту невольную поражающую неустойчивость мысли, то шатание в аргументации и выводах, которые столь необычны для обычно столь логично последовательного покойного Мартова, вдохновителя и автора этих афористических утверждений, легших в основу всего современного меньшевизма, каким он вышел из котла революции.

Казалось бы ясно: если в самом деле как раз антидемократические приемы диктатуры показательны для нереальности того большинства, на которое диктатура претендует опираться, если они то как раз и говорят об отсутствии условий, необходимых для успешного осуществления социалистического преобразования общества, то зачем бы социалдемократии — уже в силу этого одного, помимо всех прочих соображений — влутываться в такое исторически гиблое

и политически отвратное дело? Зачем антидемократическим действиям диктатуры меньшинства давать не только свое отпущение грехов, но и свое принципиальное благословение, свою авторитетную защиту?

Объяснение надо искать в исторической обстановке, которую отразила эта новая идеология. Гражданская война в международном масштабе в момент составления тезисов представлялась конкретным вступлением в процесс мировой революции, и ее естественным и нормальным началом. И гражданская война окрасила собою всю концепцию социальной революции и наложила свою специфическую печать на все ее отдельные этапы. Это именно она стерла грань между традиционной идеей диктатуры пролетарского большинства и искаженными ее воплощениями, всплывшими на поверхность взбаломученного моря Европы, и, конечно, в первую очередь большевистской диктатурой советской России.

A la guerre, comme à la guerre! Пристало ли в пылу борьбы, когда стенка идет на стенку, мудрствуя лукаво, заниматься изысканиями, на чьей стороне большинство, и уместен ли скептицизм, помышляющий об отступлении, собираясь в атаку!

Психология гражданской войны подсказывала социалистической идеологии одно единственное решение: твердою современным строем штурмовать, власть непременно захватывать! А уж за тем, после того как дело окажется сделанным, можно будет начать разбирать, что к чему, и делать выбор между двумя диктатурами. При этом, если для стран передовых, капиталистических, намечается так называемая диктатура пролетариата, то для стран отсталых диктатура маскируется под псевдонимом. Она носит скромное название раздела власти между пролетариатом и другими «трудящимися классами».

А каково на самом деле ее совсем не скромное содержание, можно судить по нижеследующей выдержке из меньшевистского кредо.

«Что же касается стран, — говорится там, — стоящих на более отсталых ступенях экономического развития, где, однако, объективная неизбежность революции создана неспособностью буржуазии восстановить народное хозяйство после опустошений войны и восстановить процесс развала старого государства, — то в таких странах ближайшей целью революции может быть лишь раздел власти между пролетариатом и другими трудящимися классами (особенно мелким самостоятельным и полусамостоятельным крестьянством)».

И тут же дополнительно поясняется: «руководящая роль в этом союзе обеспечивается за пролетариатом его высшей культурностью, его сосредоточением в центрах экономической жизни, его способностью поднять уровень развития производительных сил всей страны».

Для тех, кто знаком с партийной историей российской социалдемократии эта аргументация — не новость. Она только — новость в устах меньшевиков, представляя собой всего на всего лишь большевистский вариант той идеи, которая принадлежала когда то всей социал-демократии, и имела своим первоначальным происхождением «Группу Освоб. Труда». Это была идея гегемонии пролетариата в борьбе за освобождение России от царской деспотии. Большевизм эту идею из идеи передового отряда в борьбе, застрельщика, инициатора, инициативной энергией поднимающего свой политический удельный вес в комбинации сил, ведущих борьбу с царизмом, превратил — в соответствии со всем умустремлением ленинизма — в идею руководства, в идею командования. А пролетариат командир в «отсталой стране», как мы в настоящее время уже до-

статочно хорошо познали на собственном загривке, есть по настоящему не пролетариат - командир (это лишь фиговый листок), а командир - партия, и даже много уже, командир - головка партии, ее олигархическая верхушка.

Меньшевистская, занимающая нас, концепция «раздела власти» в отсталых странах с «обеспечением» за пролетариатом «руководящей роли» в правящей коалиции, конечно, непосредственно примыкает к этой большевистской филиации идей, к этой большевистской переродившейся идеи гегемонии. Я бы выразился даже сильнее: она примыкает не столько к циклу идей первоначального- большевизма, сколько к той новейшей большевистской практике, к тому большевистскому торжеству победы, которое, утверждая ничем не ограниченное полновластье большевизма в России, сочло нужным потащить за собою в хвосте советопослушное крестьянство и по сему-то именно поводу и прицепило пролетариату ярлык «руководящей роли» в quasi союзной комбинации, так называемом «рабоче-крестьянском» правительстве. Мне нечего, разумеется, пояснять, что эта «руководящая роль» была всецело «обеспечена» методами диктатуры. И иначе, как этими методами, она и не могла быть «обеспечена».

Ибо одно дело влиятельная преобладающая роль пролетариата, вернее его партии, в борьбе против его общего врага, каким для многих общественных классов являлось старое самодержавие, и другое — подчинение руководству пролетариата, т. е. незначительному меньшинству населения, его огромного крестьянского большинства, когда общая цель — низвержение самодержавия (со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями) уже достигнута и на смену этой цели не пришло еще другой, ей равноценной, равновеликой.

Ради каких же прекрасных глаз городского рабочего класса многомиллионное крестьянство, составляющее 80 % населения, потянется именно к нему и повторит древнерусское легендарное «призвание варягов», дабы эти современные их преемники пришли «володеть» и «руководить» мужиком, только что сбросившим с себя помещика и осевшим на захваченных землях?

Это было бы совершенно непонятно, если бы в представления меньшевистского кредо не врывался уже, как сказано, имеющийся, якобы, на лицо, якобы начавшийся в международном масштабе процесс социальной революции и не ставил вверх дном все общественные отношения — даже в странах отсталых, даже в странах самостоятельно недоразвившихся до ликвидации капитализма. Правда, вверх дном становились в действительности не общественные отношения стран, а только одни лишь понятия, имевшие до тех пор право гражданства в умах меньшевиков, теперь внезапно ощутивших головокружение под влиянием событий.

К числу этих поставленных вверх дном понятий надо, конечно, отнести и формулу — «другие трудящиеся классы», фигурирующие также и в «тезисах». Она не даром с момента революции вошла в обиход меньшевизма, заменяя собой привычную в марксистской литературе терминологию — классы мелкобуржуазные. Правда, и прежняя характеристика известных общественных классов (в том числе и крестьянства), как мелкобуржуазных, нельзя сказать, чтобы отличалась достаточной полнотой и выразительностью. Но при всех ей свойственных недостатках она во всяком случае обладала тем неоспоримым достоинством, что говорила о наличии связи, соединяющей эти классы с общественным строем буржуазной собственности и буржуазной инициативы. Иными словами, эта

характеристика указывала на то препятствие, заложенное в существе мелкобуржуазных классов, которое надо преодолеть социализму, чтобы вовлечь эти классы в сферу своего общественно - политического влияния. И она ставила вопрос о тех общественных предпосылках, при которых это социалистическое завоевание мелкой буржуазии становится не только необходимым, но и реально осуществимым и исторически возможным.

Мы знаем теперь, как аргументирует австрийская социалдемократия, создавая свою аграрную программу и рассчитывая на привлечение на свою социалистическую сторону австрийских малоземельных крестьян. Она отправляется от того экономического порабощения, которому подвергает крестьян крупный капитал, протянувший в деревню свои многообразные щупальцы и успевший в глазах крестьянства сделаться концентрированным воплощением всего социального зла. Этому, тяжело доставшемуся, опыту крестьянина социализм противопоставляет свою систему практических мер, задающихся целью парализовать тлетворное влияние капитала. И мелкий земельный собственник попадает в орбиту социализма, потому что он на собственном теле испытал, что значат эти протянувшиеся в деревню капиталистические вездесущие щупальцы.

Но там, где этого жизненно опыта нет, где крестьянин еще не познал давления капитала, и тем более там, где он только что начал переживать медовый месяц закрепления за ним расширенного землевладения, там меньше всего марксистской социалистической партии уместно спекулировать на «мелкого буржуа» крестьянина, как на прочного долговременного союзника на весь ожидаемый — в обход недоразвившемуся капитализму — «переходный период», будто бы подготавливающий всестороннее обобществление.

Но именно эта то концепция и скрывалась за совер-

шенно по внешности невинным подменом старой категории — мелкобуржуазные классы — расплывчатым, ничего не выражающим термином «другие трудящиеся классы».

Нужно было погасить в марксистском сознании этот, особенно в тот момент потенциально неизбежный, антагонизм крестьянина к городскому промышленному пролетариату и к партии, действующей его именем, тем более к партии, будто бы уже ощутившей на себе дуновение социальной революции, чтобы с легким сердцем соорудить эту несуразную в квадрате разновидность диктатуры, специально приуроченную для стран отсталых с относительно слабым развитием капитализма и сильным преобладанием деревенщины.

Во что же превратился этот пресловутый «союз» в благословенной России под эгидой рабоче - крестьянского правительства с обер - мужичком Калининым на авансцене, мы узнаем в дальнейшем, подытоживая большевистское десятилетие. И тогда же мы оценим по достоинству также и уверенность «тезисов» в том, что в «отсталых» странах «объективная неизбежность революции создана неспособностью буржуазии восстановить народное хозяйство». На это, однако, поясняли тезисы, чудесным образом способен де пролетариат отсталых стран, несмотря на совершенное отсутствие у него какого либо опыта*). Жизнь, увы, показала обратное.

*) В тезисах, по докладу Дана «о текущем моменте», на том же апрельском совещании 20-го года, как бы в дополнение к вышеприведенным утверждениям Мартова, в свою очередь подчеркивается, что «гегемония пролетариата в этом союзе может быть обеспечена... идейно политическим культурным превосходством пролетариата, его функциями организатора и объединителя всей хозяйственной жизни страны, его ролью посредника в товарообороте с социализирующимися странами Запада» !!

3.

БОЛЬШЕВИЗМ СКВОЗЬ ОЧКИ ПЛАТФОРМЫ 24-го г.

Подготовка платформы в статьях Мартова, Дана, Абрамовича. — Платформа и раздвоенность ее отношения к диктатуре. — Реформа или революция? — Ставка на коммунистов с «положением». — Оглядка на коммунистов - рабочих. — Страх перед концом большевизма.

Когда то, в 60 г.г. прошедшего века, Писарев пустил в оборот свой знаменитый афоризм: мечты и иллюзии гибнут, факты остаются. К сожалению, на примере меньшевистской пореволюционной идеологии мы видим, что это не так. Иллюзии упорно отстаивают свое дальнейшее право морочить головы даже и тогда, когда «факты», их породившие, или вернее, видимость «фактов» давным давно уже исчезли из поля зрения тех, кто ими был ослеплен, кто поддался их чарованию.

Послевоенная «мертвая зыбь» за истекшие годы постепенно стихает, капитализм «стабилизуется», о «социальной революции» уже не говорят в непосредственной связи с так называемым «текущим моментом», а лишь как о будущем, еще неизвестно когда предстоящем ликвидационном периоде целой эпохи, предельной эпохи капитализма. Но это не мешает всем «завоеваниям» революционного кризиса в области мысли сохранять свое бытие, и букет идей, собранный апрельским совещанием 20-го года, пребывает в почете, в переднем красном

углу, так сказать, в иконостасе пореволюционной идеологии. Это — ее теоретические предпосылки. От них эта идеология отправлялась в поход, секундируя большевистской максимализации России, и если сейчас цветы из букета уже гораздо реже берутся в расход, ими меньше манипулируют, то это не значит, что они в какой либо мере поблекли. Нет, они все еще свежи в умах и сердцах тех политиков, для которых общественно - политический провал времен катастрофы и вызванная ею идейная переоценка ценностей продолжают все еще рисоваться какими то достижениями.

Лучше всего этот своеобразный упрямый консерватизм новизны, консерватизм идейной ревизии влево, можно проследить на центральной теме нашей эпохи, на вопросе о том, что представляет собой, в свете современной официально - меньшевистской идеологии, советская власть, советский общественный строй, каковы их место и роль в процессе истории.

Отправным пунктом для этой концепции является период октябрьского переворота и ближайших вслед за ним лет гражданской войны. К этому именно времени, как мы уже говорили, в меньшевистской партийной среде, расколотой с начала войны, так называемый «интернационализм» одерживает внутри партии решительный верх над своими противниками и утверждает свое единовластие. И тогда же окончательно оформляется представление о большевизме, достигшем власти, как о революционном - утопическом представительстве социалистического пролетариата, поднявшемся на гребне стихийной крестьянской волны.

И поэтому: пусть методы и действия этой власти ошибочны, даже преступны. Пусть цель, которую она ставит себе, не будет достигнута. Пусть страна несет неисчислимые жертвы людьми и имуществом — в угоду молоху коммунистического эксперимента. Пусть жизнь превращается в тюрьму, в универсальную казенщину. Пусть



нашу собственную партию первоначально третируют, как едва терпимое зло, унижая ее своей привилегией в этом царстве безправия, а затем и совсем чекистски прихлопывают... И все-таки... несмотря на все это, она, ведь свой брат, пролетарий и социалист! Она — революция, которую надо активно поддерживать против контр - революции. Ей можно чинить оппозицию, но против нея нельзя восставать. А главное — ее надо во что бы то ни стало исправить и направить на истинный путь, повлияв на самих коммунистов. В этом и заключается высшая мудрость меньшевистской политики, ее историческая миссия...

Когда эта концепция впервые вышла на свет, приняв законченный вид и став общеобязательной догмой в партии, она, конечно, многих из нас, старых социал - демократов - меньшевиков, заставила с негодованием и болью уйти из рядов партийной организации. Сейчас, по прошествии многих лет, быть может потому, что длительность впечатления ослабила реакцию чувства, но мы уже сравнительно спокойно смотрим на эту давнишнюю и к сожалению уже привычную знакомую. К тому же она часто представляется нам достаточно пережившей себя, безсильной, а стало быть и безвредной, фикцией, заведомо для всех не находящейся ни в каком соответствии ни с тем, что делает власть, ни с тем, как по частям, на конкретных примерах, изо дня в день расценивает эту власть тот же самый меньшевизм.

И, однако, на самом деле, верно обратное: накануне десятилетия юбилея диктатуры мы имеем неизмеримо больше оснований с тревогой взирать на приближающийся тоже своего рода «юбилей» — десятилетия этой меньшевистской аберрации. Ибо одно дело мираж времен бури и натиска, когда взбаломученное море народных низов вздымает свои валы, не давая ориентироваться глазу и держать правильный курс корабля. И совсем другое, когда в тиши обыденщины, среди болота обще-

ственной депрессии, закрепляется, им подстать, такая же тихая, хроническая «иррациональность» умонастроения, не поддающаяся никаким противоборствующим воздействиям жизни. Это гораздо более серьезно. Это гораздо более страшно.

А чтобы удостовериться, что такая «иррациональность» на лицо, для этого достаточно вчитаться и вдуматься в ныне действующую платформу 1924-го года.

Уже в статьях «Соц. Вестника» конца 22-го и начала 23-го года, подготовлявших платформу, дано в готовом виде ее кардинальное противоречие.

Противоречие между утверждаемым характером советской власти и предписанным отношением к ней.

Что такое советская власть? Что такое большевизм в лице своего органа диктатуры — коммунистической партии?

Покойный Мартов отвечает на это в одной из своих последних статей формулировкой, почти текстуально вошедшей в платформу.

«По своему социальному составу — говорит он — большевистская партия ныне представляет организацию, в которой пролетарские элементы управляют и руководятся организаторами хозяйства на началах коммерческого расчета и фабричного абсолютизма, дипломатами, милитаристами и полицейскими, организующими приспособленное к целям развития капитализма абсолютистское, на бесправии народа основанное государство». (См. ст. Мартова «Наша Платформа» «Соц. В.» № 19-41 1922 г.).

Как же, однако, отнестись к государственной власти, возглавляемой подобной компанией?

Правда, Мартов отмечает, что «поддержка советской власти против внутренней и внешней контрреволю-

ции» естественно, за отсутствием фронта борьбы, «перестает быть одной из главных линий нашей политики».

Но священное «табу», неприкосновенность власти в глазах меньшевиков продолжает тем не менее сохранять свою прежнюю силу.

«Отвергая методы свержения большевизма путем революционного восстания» — заявляет Мартов — «партия по прежнему стремится путем организованного давления масс вырвать у существующей власти такие политические уступки, которые позволят им добиваться и добиться торжества своей воли над произволом диктаторов»...

Конечно, если посмотреть на вещи реально, не сквозь очки предвзятых идей, довольно мудроно установить непроходимую пропасть между «революционным восстанием» и «организованным давлением масс».

И довольно, пожалуй, хитроумно - смешно представлять себе эти массы — прошу помнить, русские массы — в своем «организованном давлении» такими законопослушными последователями конституционной доктрины меньшевизма, что они — храни бог — ни в каком случае не пожелают нарушить дозволенных границ, что они в своем, раз начавшемся, движении всегда сумеют остановиться именно тогда, когда нужно, когда это вздумает потребовать от них меньшевистская концепция.

И еще более, пожалуй, грустно смешно представлять себе всех этих «диктаторов», перечисленных Мартовым «милитаристов» и «полицейских», слабонервными тряпками, впадающими в состояние паники и покорно презентующими свои «уступки» т а к о м у «давлению», которое заранее и заведомо для всех ограничило себя конституционными рамками, которое неизменно хранит в своей памяти меньшевистскую науку о неприкосновенности советской власти — о ее несвергаемости...

Во всем этом нам еще много предстоит разбираться в дальнейшем, пока же что ограничимся лишь конста-

тированием факта не столько из области логики, сколько из сферы общественной психологии.

Мы вот только что читали у Мартова о теплой компании из «организаторов хозяйства», «дипломатов», «милитаристовъ» и «полицейских», «организующих приспособленное к целям развития капитализма абсолютистское, на бесправии народа основанное государство».

Спрашивается: так это или не так? Мы полагаем, что так, что это с подлинным верно. Мы знаем, что убийственная характеристика, данная Мартовым, не случайно оброненные слова, не эксцесс темперамента. Мы знаем, что Мартовский тезис через полтора года затем почти целиком был воспринят партийной платформой. А стало быть — никакими, даже самыми искусными словесными ухищрениями не затушевать вопиющего, непримиримого контраста между этим тезисом и другим, тут же немедленно провозглашаемым и не менее характерным, чем первый, для пореволюционного меньшевизма, как один из его лейтмотивов.

Этот второй — не то тезис, не то антитезис, из которых, однако, не выкроишь синтеза, — гласит, что вышеуказанная теплая компания образует власть, которая не есть контр - революция и не есть реакция. Рассудку вопреки утверждается, что это будто бы власть рабоче - крестьянская и будто бы на ней почиет революционное помазание. Когда то, впрочем, революционно помазан был и Наполеон Бонапарт. Так убедительно просят не смешивать этих двух разных помазаний. Не компания компрометирует Бонапарта, а Бонапарт — компанию. И мысль, что вышеуказанные милые люди вдруг уступят честь и место какому то грядущему бонапартику представляется в силу неисповедимых путей душевных эмоций перспективой катастрофического падения в бездну с каких то государственных или социальных высот и напояет неиз'яснимым ужасом душу пореволюционного меньшевизма...

В той же самой статье, в которой Мартов так ярко живописал командующую клику самодержавно - большевистской бюрократии, он не преминул, однако, сказать, как о насущной задаче времени, о «предотвращении той контрреволюционной опасности, которая зреет в недрах самого большевиками созданного военно - бюрократического аппарата, опасности бонапартистского завершения красной диктатуры». Ergo, — теплая компания из рук вон мерзка, но она все еще по необъясненной причине не коллективный бонапарт. Она почему то все же ему предпочтительна...

И о том же пишет Дан тогда же в статье, посвященной пересмотру платформы, (См. Дан «Борьба за демократию» «Соц. Встн.» №20 (42) за 1922 г.) заявляя, что «если есть шансы предотвратить бонапартистскую ликвидацию большевистского режима, то эти шансы лежат не на пути свержения его, а исключительно на пути его реформирования».

Абрамович же, с своей стороны, добавляет, (См. Абрамович «К вопросу о тактике соглашения», «С. В.» № 22 (44) за 22 год) что «большевики гигантскими шагами идут по пути к превращению в партию торжествующего бонапартизма», и он при этом лишь утешается тем, что они, однако, до него еще не дошли!

К слову сказать, четыре слишком года спустя, совсем на днях, Абрамович все еще продолжал полагать, что большевики «гигантскими» шагами шествуют, а все же до бонапартизма еще не дошествовали. По сему случаю позволительно скромно поставить вопрос: на самом то деле, производят ли большевики этот бег на месте, или на месте—все на том-же месте, вот уже столько лет топчется наблюдающий за ними меньшевизм, ни за что не желая расстаться со своей пережившей себя иллюзией.

Итак, как видим, меньшевизм приступил к составлению ныне действующей платформы 24-го года с

глубоко раздвоенным сознанием, с полнейшей несовместимостью своих конкретных оценок и своих предвзятых надуманных выводов.

Платформа представила собой лишь окончательное завершение этого процесса. Дав точную, из жизни взятую, характеристику наличных общественных сил, она еще более наглядно подчеркнула и противопоставила реальному положению вещей нереальную схему меньшевистской концепции и меньшевистской политики.

Она не только подтвердила положение Мартова, засвидетельствовав, что основой советской власти является «новый правящий слой», «привилегированная каста», все более и более «вступающая в противоречие» с «интересами и настроениями» рабочих и крестьян, но она показала и нечто другое и большее, а именно—какое действие этот строй и эта «каста» оказывают на те оба важнейших общественных класса, которые номинально включены в эту, будто бы, «рабоче-крестьянскую» власть, которые официально всюду и везде фигурируют в роли победителей.

И прежде всего, что случилось после победы с подставным героем «диктатуры», с русским рабочим классом?

Оказывается, по словам платформы, что он «деорганизован». На него оказывает «парализующее» «влияние» не только «экономическая разруха» но и «политическое безправие». Он «под воздействием монопольной большевистской печати» — «идейно деградирован». Он обнаруживает «моральную подавленность» и «политическую пассивность», «естественно охватившие значительные слои пролетариата в результате крушения иллюзий, материальной нужды и вечной угрозы безработицы».

А что делает другой член этой двучленной формулы власти: — крестьянство?

Платформа утверждает, что, оказывая сопротивление на почве местных хозяйственных интересов, «крестьянство обнаруживает мало способности к самостоятельному политическому оформлению». Поэтому, оно пойдет либо за «сильным демократическим движением в городах, возглавляемым пролетариатом», либо за «более крепкими зажиточными элементами деревни, в большей степени, чем все остальное крестьянство проникнутыми еще воспитанными в них большевистской диктатурой чувствами вражды к городу и пролетариату и склонными к примирению с всяким политическим строем, хотя бы и антидемократическим», только бы этот строй обеспечивал им землю и «свободную хозяйственную деятельность».

Перед нами, таким образом, на лицо, если верить платформе, определенно реакционное и реакционизирующее влияние режима большевистской диктатуры на оба устоя советского строя: как на пролетариат, так же точно и на крестьянство.

Но где же, согласно платформе, элементы прогресса, а не реакции? — При всей своей обстоятельности, при всем детальном и конкретном характере своего описания общественных сил и намечающихся тенденций, платформа не дает ни одного, ни даже самомалейшего указания в таком направлении.

Один, впрочем, раз она все же глухо упоминает о «сохраняющихся» в государственной власти «элементах революционно коммунистического якобинства», но только для того, чтобы тотчас же вслед за тем отметить фиктивность, призрачность их «сохранения», ибо «на деле» происходит не «сохранение» пережитков прошлого, а «перерождение» власти в «привилегированную касту»,

разлагающе действующую на рабоче - крестьянские массы.

Потому то и приходится платформе добросовестно распространяться о том, как понижает политическую и социальную дееспособность масс всесторонне функционирующий аппарат диктатуры, как он их развращает, толкает к антидемократическим имущим слоям, обезличивает, лишает самостоятельной воли, сводит общественно на нет.

И так же добросовестно приходится ей по неволе молчать на счет каких либо «отрадных явлений», на счет каких либо положительных сторон в работе советской государственности. А между тем они, ведь, были бы так нужны для подкрепления теоретических обобщений и политических выводов меньшевизма!

Но беда в том, что этого рода сторон большевизма в природе не имеется. И, следовательно, что поделаешь?—вся концепция еще только грядущей, а не имеющейся уже на лицо напасти «бонапартизма», вся концепция революционно - пролетарского помазания существующей власти и принципиальной недопустимости ее насильственной ликвидации, словом, вся эта область иррационального в меньшевизме, остается в платформе висящей в воздухе, без фундамента фактического обоснования.

Хуже того: все те факты, которые платформа зарегистрировала, вопиют против ее заключений.

Вот, например, капитальный вопрос о перспективах возможного и желательного реформирования власти. С какого конца могла бы начаться, как могла бы быть произведена, выражаясь словами платформы: «потеопенная, поеледовательная демократизация государственного и общественного уклада, сложившегося в результате многолетнего режима диктатуры», с «демократической республикой» в виде увенчания?

У платформы есть надежный рецепт, превосход-

ный способ для выхода из политических тупиков — «последовательное нарастание сил трудящихся».

И само собой разумеется, предпочитая даже в советских условиях реформу революции, я безоговорочно ухватился бы за этот рецепт, если бы только.... меня не смутила сама же платформа, если бы только я не вспомнил тот живой материал, которым она же оперирует, те общественные силы и тенденции развития, которые получили в платформе свою сжатую, но выразительную характеристику.

Платформа в своих умозаключениях пытается эмансипироваться от своих же собственных предпосылок, заверяя, что «при всех неблагоприятных условиях» рабочий класс «более других классов» «сохранил» «способность к сознательной организованной политической борьбе».

Но, во-первых, относительное понятие «более» ничего не говорит о значительности величины абсолютной — много ли такой «способности» еще сохранилось?

А во-вторых, и это главное, вопрос не в том, сколько сохранилось способности, а в том, куда идет развитие, повышается ли с течением времени или понижается эта способность?

И для меня прекраснодушные рассуждения на тему об ожидаемом и предстоящем «последовательном нарастании сил трудящихся» звучит поистине горькой насмешкой над констатированной самой же платформой механикой влияния на «трудящихся» советского строя.

Ведь, платформа определенно сформулировала это влияние на крестьян, как толкающее вправо, в антидемократическую и антипролетарскую сторону, — на рабочих, как «парализующее», «деградирующее» влияние, в результате которого получается состояние

«дезорганизованности», «моральной подавленности» и «политической пассивности».

Это как раз влияние, обратное тому, которое оказывает на пролетариат всех видов его другой традиционный, наследственный враг, строй развивающегося капитализма. Ибо в том то и дело, что есть враг и враг. Есть враг, беспросветный в своей зловредности, и есть враг, подающий надежду.

Мы, старые русские марксисты социалдемократы, не даром годами сражались с народниками, доказывая, что только развивающийся капитализм, формируя армию пролетариата, сплачивая и дисциплинируя ее в процессе борьбы, создаст в России действительные предпосылки социалистического государства. Это была новость в России, но это была в Европе десятилетиями утвержденная истина, идущая от Маркса. Да, капитализм есть враг, но враг, без которого его антагонист - антипод, рабочий класс, никогда бы не возвысил своего сознания, не умножил своих сил, никогда не оказался бы подготовленным и вооруженным для своего отрицающего капитализм социалистического строительства.

«Последовательное нарастание сил трудящихся» — это именно обратная сторона капитализма, та специфическая черта его исторического как бы предназначения, которая не капитализм превращает в могилу для пролетариата, а наоборот — делает пролетариат, согласно известному выражению, его, капитализма, могильщиком.

Но было бы настоящим безумием по этому типу определять свое принципиальное отношение к врагу безусловному и беспримесному, к врагу, в себе заключающему все отрицательные стороны капитализма, да еще сверх того, — без его сторон положительных, без его диалектики. Большевицкая диктатура, как совершенно правильно выдвигает платформа, не усиливает

и подымает пролетариат, а делает прямо противоположное, — его принижает и ослабляет.

Потому то совершенно незаконной гостьей в платформе и является неизвестно откуда взятая перспектива «последовательного нарастания сил трудящихся», на которой построена вся схема демократической ликвидации.

Конечно, это не значит, что большевистский режим в России имеет прочность гранита, что он может претендовать на неограниченное временем господство.

Он, что и говорить, в свое время исчезнет, но исчезнет не потому, что в недрах его, как в недрах капитализма, крепчает и становится все сознательнее пролетариат, в результате и в связи с перерастающим старым общественным стройом развитием производительных сил, подготовляющих его, пролетариата, пришествие к власти

Нет, он может исчезнуть только, как исчезает всякая деспотия, как в свое время исчезла и монархия Романовых, — исчезнуть от шквала стихии, в которую окажется вовлеченным и пролетариат, исчезнуть, как последствие каких нибудь внутренних или внешних осложнений, при которых обнаружится его совершенная гнилость, но только не как результат постепенного и последовательного планомерного своего реформирования. Легче капитализму реформироваться в социализм, чем на пути мирных реформ да еще руками ослабевшего и деморализованного рабочего класса заставить олигархию отказаться от своих привилегий и безболезненно перейти на рельсы демократической государственности.

Да что капитализм! Ведь даже при Николае II существовали более благоприятные условия для «последовательного нарастания сил трудящихся». Ибо старомодная деспотия не душила универсальной казенщи-

ной всякую хозяйственную инициативу, а деспотичная и гораздо более претенциозная, со своими всюду залезающими щупальцами, не дает прочно развернуться даже той самой «индустриализации», которая сейчас провозглашена официальным и священным догматом диктатуры. Она ей ставит весьма тесные пределы.....

Но во всей и без того нежизненной схеме демократического реформирования диктатуры нет более мертвого места чем то, в котором некоторой части коммунистической партии уделяется роль реформатора.

Платформа строит гипотезу, что «под давлением развивающегося и приходящего к классовому самосознанию рабочего движения могли бы выделиться из внутрипартийной оппозиции действительно пролетарские и революционно демократические элементы».

Что-ж! Против этого предположения, разумеется не было бы основания возражать, с ним даже было бы возможно целиком согласиться, если бы только... дальнейший комментарий платформы не разъяснял нам, в каком именно смысле надлежит понимать это «выделение» «пролетарских и революционно - демократических элементов».

Оказывается, что это «выделение» отнюдь не уход из правительственной партии диктатуры, как то было бы законно полагать, имея в виду «давление развивающегося и приходящего к классовому самосознанию рабочего движения»; это только образование новой разновидности, нового течения в среде правящей бюрократии, сохраняющего при этом даже свои командные позиции.

В самом деле, ведь как раз - то на сохранение указанных «элементами» их «положения» в правящей бюрократии и возлагает свои специальные упования платформа, рассчитывая, что эти элементы не только будут «способны» «поставить вопрос о демократии в общеполитическом смысле».

литическом масштабе», но и «сыграть, благодаря своему положению, значительную роль в деле подготовки демократической ликвидации диктатуры и стать необходимой составной частью социальных сил, действительно заинтересованных в предотвращении бонапартистского финала ея».

Таким образом, по концепции платформы, рядом с уже отмеченным нами умеренным и аккуратным рабочим движением, ни в каком случае не переступающим порога легальности, мы имеем теперь другого партнера этого движения, подготавливающего мирную реформу диктатуры. Мы имеем—нас в этом хотят заверить—людей с «положением», людей, прикосновенных к господствующей всевластной иерархии, которые, оставаясь действительными членами этой иерархии, образуют, тем не менее, внутри ее некий орден самоупражнения, некую самоубийственную секту, возгоревшуюся вдруг, в разрез со своей многолетней практикой олигархического большевизма, — пламенной ненавистью к бонапартизму и любовью к демократии...

Читая эти неправдоподобные строки платформы, мне было досадно и обидно за моих старых друзей. Когда то, в старозаветные времена, мы вместе, вслед за Плехановым, смеялись над известным в свое время публицистом и экономистом В. П. Воронцовым, этим столпом так называемого бюрократического народничества, народничества периода упадка, который умудрялся торжество своего «социализма» противоестественно сплетать с некими тоже «элементами» тогдашней бюрократии, будто бы тоже могущими пойти навстречу его общественным пожеланиям. Марксизм и рабочее движение 90-х годов довольно быстро покончили с этой реакционной утопией.

Но если теперь спокойно взглянуть глазами исто-

рика на эту давно позабытую странную идеологию, сопоставив ее с переживаемыми нами в настоящее время умонастроениями, то, пожалуй, придется сказать, что старый народник, искавший путей к сердцам бюрократии, едва ли не менее утопичен в своих ожиданиях, чем нынешние кладоискатели демократизма в рядах большевистской иерархии.

Ибо его аполитический, гомеопатически осуществляемый quasi социализм и на самом деле не посягал на государственный строй царизма. Он и действительно мог бы найти себе укромное местечко в системе монархии, если бы только русская монархия умела хоть сколько нибудь понимать консервативную ценность для нее подобных идеологий.

И гораздо более вопиюще противоречит самому простому здравому смыслу — обращаться лицом к общественному слою, всеми своими винтами входящему в состав аппарата олигархии, и при этом спекулировать на какое то особо значительное, подкрепляемое «положением» персонажей из этого слоя, содействие с его стороны. И для чего? — для дела непосредственного упразднения олигархии, т. е. диктатуры, для отказа от ее всевластия, от ее привилегий, от ее привычных самодержавно - бюрократических методов действия, от ее выросшей и укрепившейся на известной исторической почве идеологии и соответственной психологии.

Я понимаю, что для целей заговорщических, для каких либо так называемых «дворцовых переворотов», конспираторы могут и должны — такова уж логика их предприятия — выискивать тайных пособников, пользоваться услугами отдельных лиц из ближайшего окружения власти, строить многое, если не все, на индивидуальных хитрости, искусстве, интриге...

Но пригодное для заговора, совершенно не годится ни для широкого общественного движения, ни даже для

более скромных задач законопослушного, мирного реформаторства.

Ведь, речь в этом случае может идти не о «белых воронах» из известной среды, а только о целом общественном слое или по меньшей мере об общественно весомых его частях, о более или менее значительном и характерном течении в данной среде. Индивидуальные исключения в счет не идут; социально и политически принимаются к учету лишь коллективная воля, лишь массовые явления.

Но если отбросить «белых ворон» из среды большевистской бюрократии, то на какую же, спрашивается, коллективность, на какую общественную прослойку может опираться расчет меньшевистской платформы?

Платформа говорит о «действительно пролетарских и революционно-демократических элементах» из среды коммунистов с «положением». Достаточно будто бы sprыснуть эти элементы живой водой растущего рабочего движения, чтобы обратить их в активных сторонников дела демократии.

Но не благочестивый ли миф эта, якобы, демократическая прослойка коммунизма? Я готов признать, что в этой среде не мало людей пролетарского происхождения, но я знаю, к сожалению, на основании опыта русской революции, что пролетарское происхождение меньше всего гарантирует в его обладателе наличность пролетарского духа, что оно легко сочетается с духом совсем не пролетарским и даже антипролетарским, ибо — как полагается помнить всякому марксисту — не сознание определяет бытие, а бытие — сознание, и сколько нибудь длительное пребывание на посту коммуниста с «положением» способно решительно вытравить и последние остатки пролетарского самосознания...

Но еще больше отдаёт мифологией от утверждения платформы об элементах не только пролетарских, но и «революционно-демократических». Если в самом деле

отдавать себе отчет в употреблении терминов, в значении слов, то упоминание об элементах подлинного демократизма в большевистской иерархии есть чудовищное насилие как над неподкрашенной горькой действительностью, так и над своей теоретической совестью. Ведь, большевизм даже и в своей исходной стадии, даже и в своих лучших, самых искренних представителях, являлся непримиримейшим отрицанием прав большинства во имя революционных прерогатив меньшинства, монополю владения истиной.

Демонстративным разгоном учредительного собрания, повальным уничтожением свобод, установлением казенного образца дозволенного мышления большевизм с первых же шагов своего господства вносил в народное сознание струю, враждебную демократической гражданственности. Он этими своими государственными актами закреплял исконную «рассейскую» привычку беспрекословного повиновения начальству и, несмотря на всю свою демагогию, спешил растоптать и те немногие ростки демократического вольнодумства, которые еще кое-где не ко времени появлялись в народе — как бессильный пережиток когда-то сильной революции. Когда же революционная волна окончательно спала и народ был взнуздан и оседлан новым господином, первоначальный большевизм весьма быстро закончил свое развитие, превратив рабочие и крестьянские советы в намалеванные декорации и консолидировавшись в независимую по существу от народа бюрократию, в бюрократическую пирамиду, заостренную олигархическим шпиком.

Какими же судьбами в процессе этой многолетней, теперь уже десятилетней, большевистской эволюции умудрились уцелеть невидимые глазом, притворившиеся мертвыми, запятанные, замаринованные и, однако, не смотря ни на что, вес же преуспевшие на стезе антидемократического бюрократизма, — целые пласты

революционной демократии? И каким непостижимым чудом эта заправская маринада под бюрократическим соусом окажется вдруг до такой степени переполненной свежих революционно-демократических сил, что не только заявит о своем присутствии на переключке «приходящего к классовому самосознанию» «рабочего движения», но и проявит способность сыграть ту особую роль, которая предназначается ей меньшевистской платформой?.....

Разумеется, на самом то деле это всего на всего только обманчивый мираж, неожиданный в устах марксистов параксизм политической маниловщины, бьющей прямо в лицо классовой точке зрения, классовому подходу к явлениям общественной жизни.

Без сомнения, в официальной правительственной партии русского большевизма, вмещающей больше миллиона членов, как в ноевом ковчеге, — всякой твари по паре. Попасть под защитный цвет коммунизма, этого новейшего источника всех жизненных благ, стремится любой гражданин С. С. С. Р. со смекалкой в голове, с энергично работающими локтями и с достаточно установившимся равнодушием к общественной морали, ко всем принципам, несовпадающим с расчетами непосредственной- выгоды. Первоначальное ядро убежденных большевиков, этой своеобразной породы фанатиков на подкладке революционного авантюризма и нечавевской неразборчивости в средствах, что дальше, то больше все сильнее обрекается на ассимиляцию с этой новой сменой людей, воспитанных не революционным подпольем и революционным хаосом, а атмосферой бесправия в обстановке консолидировавшегося режима деспотии.

Можно спорить, конечно, много ли к настоящему времени еще осталось не ассимилированных, не приспособившихся бывших революционеров. Можно различно определять как общественно-политическую, так и мо-

ральною ценностью и самого первоначального ядра большевизма. Но вне спора одно: в смешанной, пестрой коллекции казенного ноева ковчега могут сейчас под сурдинку формироваться какие угодно настроения, комбинации, планы, но только — не пролетарско-демократические.

Есть, разумеется, в коммунистической партии — на это еще Мартов указывал, — кроме правящего слоя и некоторый слой «управляемый», «руководимый». Есть слой пролетарский, пролетарии у станка. Но только это как раз тот слой, на который меньше всего излился дождь привилегий, который меньше всего в состоянии похвастаться своим «положением» в партии и тем соответствовать ожиданиям платформы, возлагаемым на его роль в деле безблезненно мирного преобразования власти.

Слов нет, пролетариат, входящий в состав коммунистической партии не является безнадежно глухим к призывам демократии. Он может оказаться действительно восприимчивой почвой для этих идей. Однако, — при одном условии, которое почему то остается совершенно вне поля зрения платформы.

Он должен перестать быть коммунистом. Он должен порвать с антидемократической выучкой, через которую проходил все годы своей принадлежности к партии. Он должен отказаться от усвоенных, в него вколоченных большевистских навыков мышления, от многих нездоровых, аморальных черт, прокравшихся в его душу с двусторонним режимом — насилия и бесправия. Словом, он должен проделать над собой изрядную операцию чистки, пережить в самом подлинном смысле этого слова — душевный перелом.

Так — и только так — сможет он выбраться из тупика казенно-большевистского послушания на широкий, независимый путь отстаивания, наперекор господствующей диктатуре, идеи действительно свободной

страны, действительно демократической государственности. Игнорировать серьезность предстоящего и неизбежного перелома, трудность скачка, который предстоит проделать пролетариату, зажатому сейчас в цепких объятиях большевиков, значит не дооценивать, с одной стороны, растлевающего действия на пролетариат диктатуры и ее партии, с другой, — того не реформистского, а по существу глубоко революционного содержания, которое заключается в задаче перехода от диктатуры к демократии.

Даже с точки зрения узко-тактической, даже из одних только соображений успешного воздействия на пролетариат, в высокой степени ошибочен этот подход к задаче демократизации советского строя с масштабом постепенности, с меркой умеренной и аккуратной практичности. На самом же деле, эта практичность есть верх непрактичности. Ибо нужно только вдуматься в душевный мир рабочего, еще пребывающего в порах коммунистической организации, чтобы уразуметь, что здесь бессмысленны всякие полумеры, что здесь максимально нецелесообразна, нелепа политическая гомеопатия.

Большевистская идеология, как и большевистская психология, несмотря на весь кажущийся оппортунизм так называемого нэпа, в существенном, в главном, в том, что затрагивает сердцевину политического господства, диктатуры, слишком цельна, монолитна, чтобы размениваться по частям, чтобы идти на какие то средние решения, измышлять уступки, сложные формулы соглашения. Тут одно из двух и третьего не дано: или большевизм есть абсолютная истина и тогда все прочее есть ложь, которую надо как можно скорее прикончить, или сама эта истина—ложь, и тогда возненавидим эту истину, ставшую ложью, так же сильно, как мы до сих пор ее любили! Лучшие, наиболее идейные представители коммунистического пролетариата яв-

ляются носителями такого несгибаемого умонастроения. Их не соблазнишь межеумочными компромиссами. Их не увлечешь на совместную работу и борьбу перспективой. «отдельных» демократических «позиций», которыми на первых порах собирается удовлетвориться платформа. Не сдвинешь политическим штопанием советского строя! Они будут либо врагами демократии, как то было до сих пор, либо ее друзьями, — друзьями отнюдь не потому, что успокоились на каких то там поправках к своей прежней большевистской концепции, а потому что разбили ее на чисто, в дребезги.

И задача меньшевизма, задача социалдемократии и должна бы заключаться в том, чтобы помочь этой искренне по большевистски верующей части коммунистической партии, этому «руководимому» бюрократией пролетариату вдребезги разбить скрижали своего большевистского канона. Не для того разбить, чтобы этот, утративший старую веру, пролетариат, начав блуждать, мог удариться в противоположную по внешности, но по духу родственную большевизму крайность фашизма на русский лад — ибо и такая реакция на разочарование не исключена при неблагоприятных условиях, — а для того, чтобы, покончив все счета и расчеты со своим большевистским начальством, он стал, в рядах социалдемократии, равноценным с другими участником демократического движения, демократической борьбы.

На это способна, однако, только социалдемократия, сама покончившая все счета со своими иллюзиями и не возлагающая больше напрасных надежд на возможности, якобы заложенные в коммунистической партии, на какую то грядущую там счастливую метаморфозу. Чтобы вырвать пролетариат из лап большевизма, надо прежде всего самой социалдемократии вырваться из порочного круга обезволивающих представлений.

Нельзя в борьбе отправляться от заранее осознанного страха перед слишком решительной победой над большевистским противником. Нельзя начинать борьбы, внушая себе мысль, что эта борьба—борьба за демократию, — попадая в русло возникающего массового движения и приводя таким образом большевиков к падению, — рискует завершиться, в виду наличности также и сил другого порядка, какой либо недемократической развязкой, каким либо — употребим ходовые выражения — бонапартистским или фашистским режимом.

Мало того: ведь, в таком случае, чтобы быть последовательными, надо было бы бояться даже демонстрировать перед большевистскою властью то «организованное давление масс», которое покойный Мартов, как мы уже имели случай отмечать, противопоставлял революционному восстанию. Ибо всякому ясно: в атмосфере растущего общественного возбуждения любая демонстрация может послужить сигналом для решительной схватки.

Доведенный логически до конца меньшевистский страх перед ниспровержением большевиков должен был бы обречь социалдемократию на полнейшую пассивность, на противоестественную позу какого то вымученного непротивленчества. Если бы, однако, паче чаяния, такое непротивленчество оказалось вдруг перенесенным из сферы литературного теоретизирования в область практической деятельности, то, почему знать, может быть и нашелся бы ктонибудь, кто засчитал бы это непротивленчество в актив меньшевизма. Я в этом, впрочем, сильно сомневаюсь. Но я не сомневаюсь в одном, что пролетариат то коммунистической партии, в обстановке начинающегося движения, ощутивший волю к борьбе и готовность к самому безоговорочному, решительному разрыву с партией, т. е. с ее «правлящим слоем», со всеми этими знакомыми нам «милитаристами», «дипломатами», «полицейскими»,...что этот

пролетариат такого меньшевистского баланса никогда бы своей волей не санкционировал. Наоборот, такая тактика меньшевизма его далеко оттолкнула бы от себя и сделала бы на долго потерянными для дела социал-демократии.

Но эта тактика меньшевизма была бы не только ошибочна и вредна применительно к пролетарским кадрам коммунистической партии, она была бы прежде всего самоубийственна для самой меньшевистской социалдемократии. К тому же она грозила бы понижением шансов возможного демократического исхода борьбы, ослабив ее демократических участников и тем увеличив относительный вес элементов недемократических или прямо враждебных демократии, тоже пришедших в движение и претендующих на большевистское наследство.

В такой переломный момент истории оказаться в нетях, не быть в первых рядах борцов за дело демократии означало бы для меньшевизма политическое банкротство в полном смысле этого слова. Это банкротство было бы чревато неисчислимыми последствиями для дальнейших судеб движения, если бы только оно было реально осуществимо в действительности, если бы только.... такого рода политический абсентеизм был психологически и морально возможен для русских меньшевиков на местах, для тех практиков, которые стоят непосредственно лицом к лицу перед закипающей — мы, ведь, исходим из этого предположения — стихией народного движения, перед «развивающимся и приходящим к классовому самосознанию рабочим движением».

Для нас эта наличность широкого народного движения, начавшейся антибольшевистской мобилизации рабочих, крестьянских и городских мелкобуржуазных масс, есть момент, предопределяющий участие социал-демократии в борьбе против диктатуры. Участие, неза-

висимо от того, велики или незначительны при этом соразмерении сил шансы демократической развязки.

Ибо если на первых порах для социалдемократии еще не ясны перспективы борьбы, то бесповоротно ясно должно быть одно: что социалдемократия с законами диктатуры, с этими «милитаристами», «дипломатами» и «полицейскими» — за одно, на одном общем фронте, во всяком случае не будет. Каковым окажется дальнейшее развитие событий, какие тенденции возобладают на перекрестке интересов, проснувшихся для того, чтобы себя отстоять, будет не в малой мере определяться активностью и размерами участия в борьбе организованных элементов рабочего движения — социалдемократии. Но если даже демократические элементы и потерпят при этом поражение, если даже они и будут отодвинуты на задний план, а на переднем укрепятся элементы далекие или враждебные демократии, то получившаяся в результате борьбы, равнодействующая пройдет тем менее далеко от основ демократии, чем более демократическое движение в его целом сумеет себя заявить и заставить с собой посчитаться противников, отвоевав себе право на политическое бытие, то право, которого не было у него и тени при диктаторском режиме большевизма.

Для социалдемократии такое активное содействие борьбе демократических сил против абсолютизма, в какие бы перья он не рядился, и твердое знание того, что ее — социалдемократии — политический долг быть в авангарде этих сил, есть старая, общеизвестная традиция русского, да и не только русского, но и международного социалистического движения. Не случайно, однако, мы не встречаем продолжения этой традиции в меньшевистской платформе. Здесь нет места центральной задаче переживаемой Россией исторической полосы, — борьбе демократических сил против абсолютизма новейшей формации, борьбе до конца, до ре-

шительной и полной победы над ним, до его устраниения.

Мы уже говорили о реформистских иллюзиях крайне лево, вообще говоря, революционно настроенного меньшевизма, об иллюзиях, всплывающих всякий раз, когда речь заходит о диктатуре в современной России. Мы отмечали разительный контраст между тем, как сам меньшевизм анализирует положение вещей в России, в особенности же характер и направление развития господствующей коммунистической партии, — и тем, какие он делает общеполитические выводы. Мы останавливались на его опасениях провести непроходимую грань между собой и рабочими-большевиками, которые, де, не простят свержения режима диктатуры. И мы старались по мере наших сил вскрыть несостоятельность всех этих особенностей пореволюционного меньшевизма. Но, за всем тем, во всей нашей характеристике отношения меньшевистской идеологии к власти большевиков осталось еще нечто нами не досказанное, нечто, быть может, самое важное и определяющее, своего рода ключ к объяснению ошибок, той, без этого ключа, непонятной смеси из зрячести и слепоты, которая присуща меньшевистским оценкам коммунистической диктатуры в России.

Вспомним уже много раз цитированную нами формулировку того, что представляет собою, согласно Мартову, согласно платформе, — «правлящий слой», «привилегированная каста», бесконтрольно распоряжающаяся делами России. Кажется трудно нарисовать картину чернее, чем это здесь сделано. Кажется враждебность интересам рабочих и крестьян этой клики «милитаристов», «дипломатов» и «полицейских» установлена черным по белому. И, однако, как мы уже видели, остается все таки что то, что заставляет запнуться меньшевиков в их окончательном приговоре этой правящей клике, что их заставляет за нее в известном

смысле цепляться. Эта клика в представлении меньшевизма, не взирая на все свои преступления, не есть заурядная деспотия, не есть, как мы знаем, коллективный Бонапарт, и как раз перспектива, что какой то, пока никому неизвестный, Бонапарт выгонит когда нибудь вон из правительства этих не бонапартов, но заведомо для меньшевизма зловредных правителей, рисуется меньшевикам, как огромное, трудно поправимое зло для России. Вот *idée fixe*, которая с первых же дней большевистского господства и до настоящего времени, неотступно следует по пятам за меньшевистской идеологией, за меньшевистской политикой.

ЧТО У МЕНЬШЕВИЗМА ОСТАЕТСЯ ВНЕ ПОЛЯ ЕГО ЗРЕНИЯ ?

Социалистически маскированная деспотия есть враг социализма вдвойне. Идеология масс в качестве орудия их угнетения. Роковая ассоциация идей. Не регресс, а прогресс — конец большевистской лжи. Откровенный враг — лучший стимул к борьбе.)

Где же разгадка этого неподдающегося рациональному истолкованию воображаемого преимущества большевистской правящей клики перед любым Бонапартом, перед всякой так называемой контрреволюцией? Точнее говоря: где корень предпочтения, оказываемого меньшевизмом этой клике перед всеми другими? Надо, наконец, проанализировать это странное «влечение, род недуга»!

Около времени октябрьского переворота — я еще допускаю — было на худой конец объяснимо, хотя для меня и тогда неприемлемо, говорить в известном условном смысле о заблуждающемся и вредном в своем утопизме, но все же как будто бы революционном представительстве социалистического пролетариата. И могло тогда же казаться правильным отсюда выводить свои политические заключения, свою политическую ориентацию.

Но теперь то, в дни приближающейся десятилет-

ней даты самодержавия большевиков этих предпосылок — ошибочных или верных — давно уже нет даже в меньшевистском кругу представлений. Бюрократический механизм советской власти явственно для всех превратился в орудие олигархической клики. Даже единственная всеобъемлющая партия монополистка, партия коммунистическая, заметно дифференцирована на управляющих и управляемых. По всему фронту развертывается хищная свалка интересов. Пробуждены аппетиты. В безобразно уродливой, мучительной форме протекает процесс капиталистического первоначального накопления.... От под'ема революционных лет не осталось и следа. Волны окончательно спали и на их месте водворилась гладь реакции, депрессия усталости, безволия и бессилия. Ущемлено крестьянство в своих каждодневных интересах, но больше всего обделен, обездолен, зажат в кулак, морально разбит и политически уничтожен именно тот самый пролетариат, имя которого постоянно произносится всею олигархической диктатурой и чье имя когда то, в злополучные дни «октября», прикрепленное к новой власти, сбило с толку и направило на ложный путь меньшевизм.....

Что же, спрашивается теперь, после десятилетней консолидации этой власти, когда миражи рассеялись, когда все так обнажено и голая неподкрашенная проза жизни стучится в сознание, что же теперь продолжает, наперекор очевидности, притягивать меньшевизм к диктатуре и невольно ставить ее на некоторый пьедестал не в пример прочим деспотиям?

Как это ни дико звучит во всей своей парадоксальности, но притягивает как раз то, что можно назвать — великою ложью советской деспотии и величайшей ложью нашего времени.

Деспотия и — пролетариат!

Деспотия и — социализм!

Деспотия и — Карл Маркс, поскольку Маркс еще не потонул в лучах ленинизма.

Ассоциация понятий, которые, по французскому выражению, *hurlent de se voir accouplées*, вопиют, видя, как их сочетают друг с другом. Выражаясь же совсем по русски, это, с позволения сказать, — «спереди блажен муж, а сзади всякую шаташася». Особая разновидность государственности и общественности, введенная в мировой оборот с легкой руки большевизма...

Но если вдуматься в эту притягивающую силу большевистской лжи, то можно, пожалуй, понять, при посредстве каких логических операций ухитряются в этой лжи усмотреть, несмотря на всю ее одиозность, что-то положительное, некий социологический, если не прямо политический, плюс. Это по формуле, что лицемерие есть дань, приносимая добродетели пороком.

В самом деле, если деспотия, историческими условиями, вынуждается идти на ложь своего сочетания с противоположными и по существу ей враждебными умонастроениями, надевать на себя ей несвойственный идеологический костюм, то это зрелище может, разумеется, отталкивать, но оно в то же время является все же и красноречивым свидетельством неотвратимости поступательного хода истории. Костюмированная деспотия — это невольное признание всемогущества новых идей, неотразимости их напора в сумеречный век умирания старого общества и ожидания прихода нового.

Так царизм времен Петра в известном отношении вынуждался ходом вещей надевать на себя костюм европеизма, и в этом выражался несомненный прогресс того времени при всей отвратности получавшихся нередко комбинаций....

Я не знаю, таковы ли те невысказанные соображения, которые могли бы, хотя бы с известной натяжкой, мотивировать, почему меньшевизм так бережно-осто-

рожно обходится с большевистской маскировкой в России и так страшно боится момента, когда маски, наконец, спадут и реальное чудовище предстанет во всем безобразии своей натуральности. Не будем по этому поводу гадать, но во всяком случае отметим сейчас же, что к сожалению маскировка в России теперь не маскировка петровских времен, не маскировка прогресса, а маскировка — регрессивного метаморфоза.

Не деспотия с тяжелым сердцем, ворча и кряхтя, вынуждается идти на уступки знаменьям времени, а обратно — хаотическая вольница революции, быстро осев в своем под'еме, отступает и капитулирует перед властью, которая, демагогически наобещав ей с три короба, выявила себя, как деспотия.

Использував революцию, как трамплин для отпратного скачка, власть скоро и сравнительно легко получила возможность эмансипироваться от этой серой и примитивной человеческой массы, поднявшей ее на щит, но неспособной поставить ее в зависимость от себя, держать ее под своим непрерывным контролем.

Власть не подчинена этой массе, но она подчинена логике своего положения. А положение это определяется двумя кардинальными моментами, друг другу противоречащими, друг друга исключаящими. С одной стороны реальность всероссийского оскудения, вызванного войной и революцией, дает материал для одного лишь капиталистического первоначального накопления. А с другой — свое право на существование эта власть, родившаяся из противопоставления «октября» «февралю», штыка — учредительному собранию, — обрела лишь в последовательном и универсальном максимализме, выдав коммунистический вексель на немедленную и совершенную ликвидацию капитализма.

Инстинкт самосохранения подсказывает власти, что нельзя слишком расходиться с реальностью, и тот же инстинкт напоминает о том, что нельзя и слишком да-

леко идти этой реальности на встречу. Отказ от реальности — это повторение так называемого военного коммунизма, уже споткнувшегося в свое время о камень крестьянства. Отказ от коммунистического эксперимента, откровенный и решительный, — это потеря своего исторического паспорта, выданного власти максимализмом революции. Зачем диктатура, неограниченность полномочий коммунистической кучке олигархов, раз власть перестает быть символом революционного процесса устроения нового общества на обломках старого и переходит на традиционные рельсы исконного капитализма?

В результате такого лавирования между двух огней, перед нами деспотия, бессильная — это само собою разумеется — создать какое либо даже подобие пролетарско-коммунистического строя, но бессильная также допустить и сколько нибудь нормально развиваться капитализму, частной инициативе, даже хозяйству крестьянина. Превратив всю жизнь в противную казенщину, она и свое казенное хозяйство ведет до нельзя скверно, становясь все более явственно непреодолимым препятствием для центральной задачи современной русской экономики — поднятия производительных сил. В этом отношении, благодаря своей исключительности, она обладает даже более могущественными отрицательными средствами, чем какими когда либо обладала деспотия царей.

В силу этого мы несомненно приближаемся к моменту, когда во всеобщем сознании России — России народных масс, и в частности, России пролетарской, — сформулируется горестная мысль, что, отдав когда то диктатуре свои неотчуждаемые права первородства, — права всенародной демократии, всенародных власти и контроля, — за чечевичную похлебку социальных благ коммунизма, она осталась при «разбитом корыте» нео-

существенных надежд. Ни чечевичной похлебки, ни прав!

И вместе с тем созревает потребность — найти виноватого! Конечно, в первую голову виноватыми окажутся диктатура, правящая партия, все персонажи, что были там на верху, у кормила правления. Но — беда в том, что не только они. Виноватыми окажутся и все те идеи, понятия, которые неразлучно ассоциировались с этой властью, с этой теперь осознанной, как несчастье России, большевистской деспотией.

Без вины виноватыми будут и социализм (за компанию с действительно виновным коммунизмом большевиков), и пролетариат, и даже Карл Маркс...Предупреждение испытавшего жестокое разочарование массовика не станет разбираться в «тонкостях» идеологий. Рубя с плеча, оно вместе с большевистским коммунизмом зарубит и всякое государственно-общественное регулирование производства, всякое «обобществление». Десятилетняя практика большевистской диктатуры будет служить непререкаемым свидетельством банкротства всех осточертевших «измов», которыми до полного обалдения насильственно пичкался несчастный народ, попавший вместо кролика под нож социального экспериментатора.

Это будет печальный и вредный реванш — не по адресу. Но этот реванш получит, к сожалению, возможность отправляться от действительно неоспоримого факта, что вкрапление социально передовых по своему происхождению, но соответственно своему новому предназначению, изуродованных идей в ткань беспардоннейшей диктатуры есть обстоятельство, которое не подымает деспотию на более высокий социальный уровень, не придает ее «подлостям» некий оттенок «благородства», а действует в направлении обратном. Оно превращает «благородство» в источник сугубой «подлости», социальный идеализм и социальный идеал ста-



вит на службу того всестороннего и всюдупроникающего коверкания жизни, которое без помощи их ореола никогда не получило бы такого размаха, такого грандиозного окрыления. Вот уже где подлинно:

Vernunft wird Unsinn Wohlthat—Plage.

Разум становится глупостью, благодеяние — мучкой! — Такова уж диалектика истории: что идеология пролетариата, идеология народных масс, восставших против старых форм угнетения, — именно потому что она и их—народных масс—идеология, потому что она закрепила за собой психологическую связь свою с интересами этих масс, может, до поры до времени, в руках представителей новых форм угнетения, в руках маскированной олигархии, стать способом продолжать завинчивать эксплуатацию гораздо дальше предела допустимого для угнетения простецкого, с тарозаветного не преподносимого под пикантным соусом социальных посулов, сбивающим с толку, ставящим на голову обычное распределение понятий и не дающим ориентироваться, что к чему. «Правая, левая, где сторона?».

Неудивительно, поэтому, что весь гигантский аппарат общественного оглушения направлен именно на то, чтобы вбить в головы народным массам непоколебимую уверенность в том, что все их страдания, их нищенские заработки, сверхурочная работа, безработица, исключительная тяжесть налогов и проч. и проч., все это многообразное выкачивание народных соков насосом бюрократической олигархии производится не в видах получения «прибавочной стоимости» верхним «десятком тысяч», как во всех иных государствах, а исключительно для утверждения коммунистически совершенного, истинно народного строя трудящихся и во славу мировой революции.

Все же отрицательное, все темные стороны совет-

ского существования, это, мол, либо наследие проклятого дореволюционного прошлого, либо вина злоумышляющего капиталистического окружения!.....

И машина оглушения работает с невиданной в истории напряженностью, чтобы доказать превосходные качества деспотии и не дать общественному сознанию одуматься и хоть на минуту придти в себя.

Ежедневная печать и толстые ежемесячники; площадные плакаты и квази-научные труды; поэзия и проза; театры, кинематографы, танцульки и заседания ученых обществ специалистов, рефераты кружков; организационные ячейки всех сортов и видов; демонстрации и манифестации по каждому поводу!.... Эта лихорадочная суэта официально регулированно и официально предписанного времяпрепровождения, удаляющая вся в одну точку, преследующая единую цель, могла бы казаться бьющей ключем от избытка внутренних сил, если бы на фоне заведомого обеднения жизни, материального и духовного, эта показная, рекламно бьющая в барабан сторона не говорила как раз о хроническом неблагополучии, о той червоточине, которая раз'едает организм диктатуры и заставляет постоянно прибегать к такого рода впрыскиванию искусственно возбуждающих и в то же время усыпляющих средств.

Ростущие, все более обостряющиеся противоречия маскированной деспотии не останутся, конечно, перед этой шумихой монополистов пропаганды и агитации, и с тем большей силой взорвут на воздух тормозящий развитие государственный строй, чем более запоздалым и принудительно долго сдерживаемым окажется напор подпочвенных сил.

Вместе же со строем погибнет и его защитная маскировка. Пострадают, как я уже сказал, и станут на долго бессильными в массах и те социально-передовые идеи, которые имели несчастье быть ассоциирован-

ными с большевистскими теорией и практикой.

И тогда, быть может, — лучше поздно, чем никогда — наконец то, раскроются глаза у всех тех, кто до тех пор не желал признавать реальности факта, что нет более предательского, нет более злостного врага у пролетариата и его учения, чем любвеобильно-удушающие об'ятия советской деспотии.

Этого слишком часто не сознают не только русские меньшевики, но и социалисты в других странах, принимающие за чистую монету ходячий тезис о так называемом бонапартизме, которого, де, все еще нет на лицо, но который может придти и которого приход на смену большевистской деспотии будет означать для России катастрофическое ухудшение современного положения вещей....

Нам нужно, поэтому, разобраться, в вопросе о возможных и вероятных условиях падения советской власти в России и прежде всего уяснить себе то содержание, которое вкладывается в понятие наступления в России бонапартизма.

Бонапартизм в России? — Что такое, однако, исторический Бонапарт, этот финал великой французской революции? Как известно, приход маленького человека в треуголке означал торжество твердой власти с ее всеильной и бесконтрольной бюрократией и наведенными в стране тишиной и порядком над хаосом непрекращающейся борьбы политических партий, над беспорядочно функционировавшим, потерявшим кредит в населении и казавшимся таким бесплодным миром парламентских словопрений.

Но как раз такое торжество порядка над хаосом, бюрократии над народным представительством, об'единенной деспотической воли над свободным соревнованием мнений и партий, уже предвосхищено в полной мере коммунистической олигархией у всякой будущей власти. Эту политическую функцию Бонапарта

большевизм исполнил с таким исключительным совершенством, что ни один европейский режим, родившийся из бонапартистского или бонапартоподобного переворота в этом отношении не сравнится с властью, ныне существующей в России. И, следовательно, не здесь, не в сфере бесконтрольного бюрократического хозяйничанья в бессильной и в безвластной стране приходится искать того новшества, которого можно ожидать от пришельцев, сменяющих большевиков. На стезе деспотизма после большевистского десятилетия нового слова не скажешь! Но есть новшество предуказанное, и оно то как раз и пугает меньшевиков, как и многих других представителей иностранных социалистических партий.

Это — ликвидация всякой властью, преемницей большевистской, вместе с антикапиталистической хозяйственной политикой диктатуры, того пролетарско-социалистического (коммунистического-тож) идейного вкрапления, которым парадировал большевизм. Новая власть, кто бы она ни была, первым делом порвет как с Коминтерном, так и с той существующей для внутреннего употребления «политграмотой», «политпросвещением», которые, навязываясь всем, как общеобязательная истина, навязали у всех на зубах. Новая власть будет откровенно, может быть, даже и демонстративно, буржуазна. Весьма вероятно, что она будет иметь и явственно антипролетарский характер, и в отличие от большевиков станет ущемлять без излишних фраз лицемерия.

И тем не менее, даже и в том наихудшем случае из всех возможных, если эта власть родится из кружкового, так сказать, «дворцового переворота», если она, на фоне затянувшейся общественной апатии, окажется в силах продолжить дальше большевистскую линию безответственного деспотизма, то и тогда мы будем все же стоять перед фактом, который при всех

своих крайне неприятных особенностях, придется с точки зрения дальнейших перспектив общественного развития расценивать, как некоторый — даже знаменательный — шаг вперед по сравнению с кажущимся безисходным тупиком застойного большевизма.

Мы убедимся, что это так, если примем при этом в расчет историческую обстановку подобной смены. И прежде всего мы должны будем констатировать бессилие послебольшевистской диктатуры, не смотря на всю ее суб'ективную заряженность против социализма и пролетариата, в чем либо реально, на самом деле, ухудшить их положение по сравнению с тем, воистину плачевным, каким мы находим его после десятилетнего пребывания большевиков у власти.

Мы уже отмечали, что даже меньшевистская платформа принуждена говорить о деградации и разложении пролетариата, о тяжести его переживаний в результате «экономической разрухи» и «политического бесправия». Нам нечего также распространяться и на тему о политическом небытии всякого не большевистского социализма, на костях которого оранжерейно расцветало уродливое растение официального коммунизма. Можно говорить лишь о тех элементах социализма, которые при всей антисоциалистичности большевистской доктрины, тем не менее, как инородные тела, проникали в противоестественной комбинации с большевистской идеологией и большевистским толкованием и лишь таким образом становились доступны для всеобщего ознакомления.

Но я сильно сомневаюсь, чтобы прекращение такого рода ненормальных условий распространения социалистических идей представляло вознаграждаемый урон для этих самых идей и чтобы учение Маркса в его целом сколько нибудь пострадало от закрытия всех вздвигнутых большевиками пышных храмов казенного марксоевения. Это не мешает мне, конечно, во имя

справедливости, признать, что усилиями отдельных лиц и в растлевающей обстановке большевистского режима кое-что было сделано — в области, скажем, истории идей и собирания материалов и документов.

Но та же справедливость обязывает меня и к тому, чтобы заранее предвидеть, что как раз то ожидаемый нами ущерб марксизму и социализму будет нанесен не столько усилиями новой деспотической власти, сколько той общественной, а не правительственной реакцией против этих идей, а эта реакция явится закономерным следствием многолетнего большевистского засилия, расплатой за него, независимо от того, придет ли на смену большевизму новая деспотия или самая превосходная демократия. Так называемый же бонапартизм, даже в самой гнусной своей разновидности окажется меньше всего тут при чем, меньше всего тут виною....

Не менее существенно и важно также и несомненное бессилие будущей, гипотетически мыслимой нами диктатуры в другом направлении, бессилие расправиться с тем, что можно назвать уцелевшими, и при большевистском режиме, завоеваниями революции.

Большевизм разогнал Учредительное Собрание, перечеркнул февральские свободы, уничтожил какую бы то ни было общественную самодеятельность, всякий организационно-самостоятельный почин. А то, на что из идей и дел «февраля» он не посягнул и посягнуть бы не мог, главным образом из боязни крестьянской стихии, то он исторически противозаконно присвоил себе, как свое, якобы, «октябрьское» достижение. Так он узурпировал и провел в безобразно насильственной, нерациональной, беспорядочной форме уже ранее предрешенную ликвидацию помещиков и переход их земли к крестьянам. Так, лишь санкционировав ту плебеизацию общественности, которая тоже родилась в феврале, он пытался, где только мог, превратить

ее, под ферулой своей регламентации, в карикатуру какого то нелепого дворянства навыворот.

И, однако, несмотря на все это, остаток революционных завоеваний в основном, в своем существе, сохранился неприкосновенным и до настоящего времени. И таким же, конечно, неприкосновенным перейдет и ко всякой будущей власти. Стихия истории успела консолидировать его и сделать недоступным для покушений со стороны каких бы то ни было превратностей метаморфизирующейся власти. Не даром она устранила из самых мрачных наших прогнозов перспективу монархической и всякой другой ей сопутствующей «реставрации». Дальше «бонапарта», уже обокраденного большевиками до того, что «бонапарт» потерял всякий исторический смысл, не рискует идти самое напуганное воображение, упираясь, как в стену, в этот, попавший под охрану истории и ставший незыблемым, — крестьянско-плебейский остаток революции....

Но, разумеется, бессилие ухудшить и без того из рук вон скверное положение не обеспечило бы за диктатурой, преемницей большевистской, признания ее известным шагом вперед в освободительном процессе России. Для этого нужно, чтобы не только она чего-то сделать не могла, но также, чтобы она что-то, действительно, сделала, — сделала хотя бы против собственной воли, не сознавая исторического смысла совершаемого ею. А это что-то в нашем случае есть неизбежный при будущей смене диктатур кардинальный перелом в сознании народных, и в особенности пролетарских, масс в отношении к власти.

С исчезновением большевизма у власти исчезнет, наконец, и та роковая двусмысленность, которая в течении ряда лет, вопреки здравому смыслу и наперекор очевидности, свинцовой гирей висела над сознанием народа, сыздавна привыкшего видеть врагов своих с правой, а друзей своих — с левой стороны. Перед наро-



дом же находился хамелеон, переливавший всеми цветами, начиная от ультра-красного и кончая полярно противоположным — ультра - фиолетовым. Посмотришь с одной стороны, слушаешь, какие идеологические узоры разводит, какие интересы и идеалы претендует представлять, и прямо утонешь в потоках источаемого благородства! Ну, а посмотришь с другой стороны, и видишь — звериную морду, мертвую хватку, вспомнишь всю беспросветную тьму материальной скудости и рабьего послушания, все синяки, преподносимые прозой повседневной, будничной жизни, и как будто бы готов преисполниться чувств, совсем непохожих на чувство любви и солидарности....

Раздвоенный в своем сознании народ — особенно же рабочий народ городов — становился в этих условиях Гамлетом и все не был в состоянии окончательно и бесповоротно утвердиться в своем мнении о том, что же, — свой брат или не свой эта власть, незадачливый ошибающийся друг или подлинный предатель враг?

И эпоха народного гамлетизма до сих пор еще не дописала своей последней главы, не сказала своего последнего слова, мешая концентрации воли к борьбе, созданию об'единенного фронта для восстановления в России демократии и свобод.....

И в этом отношении даже самый дрянненький кружковой «дворцовый переворот», в котором, конечно, не только социалдемократу, но и буржуазному демократу делать нечего, к которому рук ему не пристало, да и невозможно, прикладывать, может оказаться тем ничтожно-малым кристалликом, который при всей своей малости, приводит в движение неограниченно-большое количество пересыщенного раствора, без его посредства не могшего до тех пор выйти из своего напряженного тяжелого равновесия.

Крушение большевистской диктатуры от такого рода малости, как кружковой переворот, т. е. в сущно-



сти от ее собственного разложения-распада, подорван еще сохранявшийся в глазах масс престиж большевизма, в то же время — и это главное — поставило бы эти массы в непосредственное соприкосновение с новой безответственной властью. У этой власти, однако, в отличие от прежней, уже не имелось бы более столь мощных ресурсов сбивающей с толку демагогии. Благодаря этому положение стало бы проще и много яснее.

Перед массами оказался бы враг уже не с опущенным, а с приподнятым забралом, и массы обрели бы в его лице ту точку приложения сил, тот фокус политического противодействия, в которых они так нуждались, чтобы выйти из своего состояния оцепенелости и маразма. Таким образом, новая власть, запоздавший горе-бонапарт, ни в каком случае не задержала бы, а, наоборот, ускорила бы ликвидацию всех и всяческих диктатур; ликвидацию, которая пришла бы, вероятно, много позже без ее оперативного вмешательства в дело разложения большевизма.....

Не следует при этом упускать из виду еще одно, далеко не маловажное, обстоятельство. Самая скверная послебольшевистская диктатура ходом вещей вынуждалась бы к раскрепощению частно-хозяйственной инициативы, к ослаблению, если не к совершенному уничтожению, удушающей казенщины. И тем самым даже она могла бы послужить исходным толчком к скорейшему восстановлению российской экономики, к тому действительному росту производительных сил, который так нужен для развития более здоровой и более дееспособной общественности. И, следовательно, даже она явилась бы государственной формой, в которой быстрее и легче начала бы развиваться в масштабе массового движения борьба за ниспровержение деспотии, за демократизацию общественного строя.

При этом, однако, естественно возникает одно сооб-

ражение, которое, буде оно оказалось бы правильным, должно было бы внести некоторые поправки в только что представленную нами гипотетическую картину. А именно: не нашла ли бы новая деспотия достаточно прочный фундамент, даже и против движения народных низов, в буржуазных элементах послебольшевистской России, в ее хозяйственно-крепком крестьянстве? Ведь, страх грядущего «бонапартизма» в значительной степени приурочен именно к этой предполагаемой и уже начавшейся «бонапартизации» значительных слоев современной деревни.

Допустим на минуту, что это так и что буржуазная диктатура найдет себе твердую базу и окажется долговременной, «стабилизированной». Будет ли, однако, это говорить что нибудь, с точки зрения исторического прогресса в его целом и с точки зрения в особенности самих народных низов, — против выгоды перехода от диктатуры фальшиво-коммунистической и обманно-пролетарской к диктатуре даже воинствующей и консолидированной буржуазии? Мы не колеблясь ответим: нет! Как нами уже было показано, этот переход будет во всяком случае переходом от застоя к движению, от инерции к борьбе.

А затем, если бы даже, действительно, оказалась возможной такая буржуазная деспотия не в виде «калифа на час», то это означало бы только, что многолетний режим большевистских хозяйничанья и господства накопил в своих недрах эти запасы реакции, что он является ее настоящим крестным отцом. Но и в таком случае мы в праве сказать, обращаясь к истории, словами Христа к Иуде: что делаешь — делай скорей!...

К счастью, однако, как я постараюсь показать, наши послебольшевистские перспективы далеко не так односторонне мрачны. На самом деле они значительно более сложного и внутренне противоречивого характера.

ВЕРОЯТНЫЕ ЛЕЙТМОТИВЫ ПОСЛЕБОЛЬШЕВИСТСКОЙ ЭПОХИ.

(Центральная фигура эпохи — мелкий буржуа. Незаконность параллели русской революции с французской. Буржуазный реванш и реакция против деспотии. Борьба за демократизацию России. Трудности, ожидающие социалдемократию).

Чтобы нащупать господствующие тенденции, лейтмотивы грядущей послебольшевистской эпохи, надо дать себе ясный отчет в том, в чем же будет заключаться, — если можно так выразиться, — пафос отрицания этой эпохи. Ибо, не подлежит сомнению, эта эпоха будет находиться под знаком самого резкого отрицания предыдущей. Она вся насквозь будет антагонистична к тому, что в свою очередь можно назвать патетической стороной предшествующего десятилетия, что в глазах этого десятилетия большевизма, под пером и в устах официальных его глашатаев, составляло его исторический смысл и что обернулось на деле, как величайшая историческая бессмыслица.

То, что лежало камнем на пути общественного развития, о который и споткнулась советская власть, то именно и ощутилось всем общественным организмом, как нестерпимая боль, заставившая возненавидеть власть и превдшая ее к падению.

При этом не лишне, пожалуй, прибавить, что когда

мы строим эти проекции в будущее, мы, конечно, говорим не об организме старой, а об организме новой России. Большевизм могут преодолеть и преодолеют не пережитки давно ликвидированного дореволюционного прошлого, а элементы, сложившиеся в процессе заживления ран, полученных от войны и революции; элементы, окрепшие под большевистской крышей не благодаря, разумеется, попечительным усилиям большевистского начальства, а несмотря на всю его политику и вопреки его предначертаниям. А крепнут эти элементы не почему либо другому, как потому, что никакая, даже самая притязательная и вооруженная всей техникой современности деспотическая власть не способна в конечном счете зажать в свой кулак все многообразие находящийся в ее распоряжении жизни и поневоле вынуждается претерпевать непослушные ей процессы развития.

Стихия же развития шла в направлении утверждения, на пепелище старых экономических формаций (городских и деревенских) — мелкобуржуазного хозяйства во всех его видах. Это оно — хозяйство крестьянина и городского мелкого буржуа (торговца и промышленника), — продиралось сквозь чашу большевистских рогаток, ограничений, регламентаций, запретов, и, несмотря на все им испытанные ущемления, становилось преобладающим и — в известном смысле — задающим тон русской жизни. В то время как казенная индустриализованная Россия жила искусственной призрачной жизнью на костылях субсидий, субсидируя в свою очередь огромную армию хозяйственных чиновников, мелкий хозяин, городской и деревенский, выстаивал на собственных ногах все удары режима; и для того, чтобы только удержаться на поверхности жизни, не говоря уже про то, чтобы в ней преуспеть и отдать полагающуюся с него дань процессу накопления, ему приходилось напрягать максимальную энергию и проявлять

нечеловеческую изворотливость. И тем не менее, он все же, несмотря ни на что, дань накоплению приносил и ничьими другими усилиями, как именно его, хозяйственная жизнь России начала наполняться новыми, более здоровыми, соками. Как это ни может показаться странным для всякого, кто привык концентрировать свое внимание на авансцене большевизма с ее декоративным «социалистическим» крупным производством, но именно он, этот мелкий буржуа, сделался в наше пореволюционное время фигурой, символизирующей Россию, продвигающуюся вперед и экономически креннущую.

Пока этот мелкий буржуа лишь сила потенциальная, прикровенная, почти подпольная и далеко себя в полной мере не осознавшая. Он в своем роде форточка, через которую в замурованную страну врывается дыхание жизни. Но он несомненный единственный вне конкурса будущий претендент на власть, на освобожденное от большевиков и ставшее вакантным место распорядителя судеб России. То, что для него было недостижимо или достижимо с величайшим трудом в старой, гораздо более сложной и дифференцированной обстановке дореволюционной капиталистической России, то выпадает на его долю теперь, как закономерный плод того великого упрощения жизни, которому подверглась Россия, того понижения уровня ее экономики, которое переместило ее жизненный центр из крупного производства в мелкое, из города — в деревню.

И потому этот мелкий буржуа—крестьянин и городской человек, промысловый и торговый — держит сейчас ключи от нашего будущего и мы, как легендарного сфинкса, вопрошаем его, ища ответа на наши запросы в его сложившемся и слагающемся отношении к наследью революции, к переживаниям последнего десятилетия. Какие следы оставила эта история катастроф и катастрофическая история на его психике и на его общественно - политических предрасположениях? Во что

переработала она то довольно таки примитивное внеобщественное и внеисторическое существо, которому суждено было пройти эту жестокую и многолетнюю выучку?

Обычно, чтобы разгадать нашего русского сфинкса, привлекают к ответу, как мы уже знаем, историю французскую и проводя аналогию до конца, отождествляя в существенном и основном выучку, пройденную нашим многомиллионным мелким буржуа, с крестьянско - буржуазной выучкой, приведшей от Робеспьера к Бонапарту, заключают отсюда о послебольшевистской эпохе, как об эпохе, ожидающей нас сплошной и черной реакцией. И удивительное дело, — при этом забывают о том, о чем, в других случаях, помнят даже слишком хорошо, преувеличивая отличительные особенности русской революции в обстановке приближающегося к своему закату мирового капитализма.

А между тем эти особенности действительно существуют и как раз тогда, когда речь заходит о конце большевизма и предстоящей его замене каким то новым режимом, их надо сугубо держать в своей памяти, чтобы осмыслить конкретный характер намечающегося в русской жизни коренного перелома. Ибо этот перелом будет в своих главных чертах отправляться от отрицания именно данных особенностей, не от того, что есть общего у русской революции с классической французской, а от того, чего в той революции не было и что как раз в революции русской достигло своего предельного развития.

Это, выражаясь кратко, во первых — социализм русской революции, и во-вторых — та деспотическая государственность, которая из этой революции вышла, но давно уже границы революции перешла и всем своим механизмом успела вросли в послереволюционный период общественного упадка и общественной инерции.

Социализм! В великую французскую революцию

коммунистический заговор Бабефа являл собою мало-важный эпизод, прошедший почти незамеченным тогдашней французской общественностью, и для французской революции даже, быть может, менее характерный, чем известные в истории коммунистические спутники крестьянских восстаний. Во всяком случае этот эмбрион — предвестник великого движения XIX века — ни в какой мере не послужил отправной опорной точкой для того вздыхания по твердой власти после бурь революции, которое охватило крестьянство и буржуазию во Франции, тем самым заложив фундамент наполеоновской власти.

И совершенно другое, прямо противоположное мы видим в России, где социализм в своей более или менее максимализированной форме заполнил с первых же дней весь горизонт революции, имевшей несчастье, в отличие от всех других, нам известных революций, быть порождением и в то же время жертвой незавершенной непосильной войны. Истошив общественный организм до тла, война выжгла свою низгладимую печать на всем ходе революции, придав ей болезненно - взвинченные, искаженные черты и своим влиянием предопределив ее большевистский конец. Перемещение земли от помещиков к крестьянам, этот акт, подготовленный историей, в этих условиях универсализировался и превращался в огульную антикапиталистическую, антисобственническую реакцию. И это как раз тогда, когда об'ективные предпосылки для социализма, и без того недостаточные в экономически отсталой стране, стали еще более недостаточными в процессе всеобщего разорения. В результате, как и надо было ожидать, последовал крах так называемого военного коммунизма, обошедшийся России в неисчислимое количество жертв людьми и имуществом. Коммунистическая власть должна была, лавируя, пойти на уступки, ввести на место недвусмысленного коммунизма двусмысленный нэп. Она на некоторое время по-

лучила отсрочку, спасла себя, но, конечно, не спасла социализма, безвозвратно погубив его в глазах многомиллионной мелкособственнической и, в особенности, крестьянской массы.

Если до тех пор под флагом социализма крестьянство увеличивало свои земли на счет помещиков и потому готово было сквозь пальцы смотреть на всю антикапиталистическую кампанию, ведомую большевиками, то теперь оно впервые, под пятой большевизма, ощутило всю ценность для него, им раньше недооцененного, принципа собственности. Оно получило такой наглядный урок из рук большевиков, какого лучше не мог бы придумать ни один враг социализма. А последующие годы государственной практики диктатуры могли только лишь укрепить завязывающуюся связь крестьянства с определенно выраженной буржуазной психологией, с буржуазным мышлением.

Мелкий собственник — и не только крестьянин — выходит, таким образом, из лаборатории революционных и послереволюционных лет большевизма с такой антисоциалистической прививкой, с таким упроченным буржуазным сознанием, каких не давала и давать не могла не только великая французская революция, но даже и позднейшие, имевшие уже дело с социализмом и рабочим движением, но не знавшие ни такого грандиозного — в государственном масштабе — эксперимента, ни такого потрясающе демонстрированного несоответствия между тем, что с легкой руки большевиков выдается за социализм, и интересами буквально всех классов страны, всего государственного целого.

Социализм, пропущенный через призму большевистской десятилетней практики, не только блистательно провалился на экзамене жизни, как государственная доктрина, — к величайшему удовольствию буржуазии всех стран и к вящему укреплению эгоизма собственника в русском мелком буржуа всех видов, но он еще оказался,

сверх того, морально загаженным, морально дискредитированным всей этой практикой. Ибо эта практика не являла собой населению некий высший моральный принцип, достойный подражания и внушающий к себе уважение даже врагам, а, наоборот, поражала своим безграничным цинизмом, тем противоречием между словом и делом, между декларативной красотостью и реально творимым безобразием, которое должно было действовать разлагающе на морально и политически и без того не стойкую среду.

Социализм героев первоначального накопления! — на такой социализм даже иной буржуа, а в особенности трудящийся мелкий собственник, мог пожалуй взирать не снизу вверх, а сверху вниз, — с высоты своего по сравнению с ним морального превосходства!

Но морально и политически наихудшее, что могло приключиться с социализмом, узурпированным большевиками, это его неразрывная — в глазах населения — связь с государственным строем деспотии. Эту связь завязали большевики, а развязывать ее придется всем остальным социалистам мучительно трудно и мучительно долго. Я боюсь, что на это надо будет потратить много больше времени, чем сколько большевикам удалось повластвовать в России...

В этом несчастьи социализма есть только одно утешение. Есть основание думать, что с падением большевиков наступит не только общественно вредная реакция против социализма, взятого с коммунизмом за одни скобки, но и реакция общественно полезная, направленная против системы безконтрольного, деспотического хозяйничанья в государстве какой бы то ни было власти.

Деспотизм большевистского десятилетия — вторая особенность русской революции, неизвестная революции французской. Ибо, конечно, как ни относиться к якобинской диктатуре Робеспьера с ее жесточайшим террором — мне она внушала всегда весьма мало симпатий, —

но следует все же признать, что ее относительно кратковременное функционирование, в период бурь революции и к тому же в историческом окружении XVIII века, когда весь континент Европы еще не знал ни представительных учреждений, ни вообще каких бы то ни было свобод — несравнимо с большевистской властью, утвердившейся в Европе XX века, — в непосредственном соседстве с парламентаризмом, с демократиями, с разветвленным рабочим социалистическим движением и даже с рабочими правительствами. И надо особенно подчеркнуть: эту деспотию большевизм утвердил не только на время революционной бури в России — от бури сейчас давно уже и след простыл, — а как прочную, постоянную государственную форму, предназначенную действовать неопределенно долгое время, — вплоть до самого, неизвестно когда грядущего, победного конца мировой революции. И потому, — повторяю и не устану повторять, — если несмотря на все основное несходство обеих революций, нужно все же почему то в прошлом искать параллели большевистскому десятилетию, то уже, конечно, параллели не с кратковременным правлением Робеспьера, возглавлявшим момент наивысшего кипения революционных страстей, а с такой же длительной и закрепившейся в атмосфере упадка революции властью, как власть Бонапарта. Ведь, Бонапарт, согласно безсмертному уподоблению Барбье в его «Ямбах», сумел в надлежащий момент вскочить на коня, оседлать революционную Францию, и затем ездил на этом взнузданном коне до тех пор по всем закоулкам Европы, пока конь до конца не изъездился и не пал от совершенного истощения сил. Так вот и русский коняга протянет когданибудь ноги в метаниях по белу свету под знаком Коминтерна.....

Но оставим в стороне эти точки соприкосновения с Бонапартом. У русской большевистской деспотии есть кардинальное отличие как от власти Бонапарта, так и от диктатуры революционного якобинства, и это отличие

имеет для нас особенно существенное значение в силу того возможного, я бы даже сказал — неизбежного, обратного, встречного действия — противодействия, которое подготавливается самим механизмом деспотии и может стать одним из руководящих настроений, — тенденций в послебольшевистской России.

Я имею в виду то чрезвычайное насилие над экономикой русской жизни, то противоречие ее требованиям на данной ступени развития, которое характеризует экономическую политику большевизма не только в период «военного коммунизма», но и в период гораздо более по внешности эластичного нэпа. Большевизированный «социализм» зажал экономику России в инквизиционный «испанский сапог» системы своих мероприятий, и он мог до поры до времени не без успеха это делать потому, что отлив революции противопоставил распыленному и лишённому инициативы населению чудовищный, бюрократический и военный аппарат деспотической власти.

И этот аппарат, выполняя задание системы, влезал во все поры, во все щели и дыры существования обывателя — бывшего гражданина революции, в особенности как раз того мелкого производителя — крестьянина и горожанина, который в своей массе, в своей подавляющей численности, есть провиденциальный хозяин будущей после-большевистской России. Сейчас однако этот провиденциальный хозяин является пока что главным излюбленным объектом для манипуляций большевистского экспериментирования, той наковальной, по которой не устает, по самым разнообразным поводам, ударять молот деспотии.

Когда этот молот выкует в своей наковальне истинно железное расположение духа против себя, это вопрос другой, на который ответить мы не взяли бы в настоящий момент. Несомненно только одно, что в аморфном и рыхлом материале крестьянской и мелкобуржуазной среды выковывается во всяком случае некое инстинктив-

ное, стихийное, органическое недоверие к бесконтрольному распоряжению достоянием и жизнью этой среды, недоверие, представляющее собою уже начало будущей общественной активности и предпосылку неприкрытого желания принять участие в устройении власти, в государственном зодчестве.

Вот чего либо подобного этой школе ненависти к всевластному хозяйскому обращению с имуществом каждого гражданина (как, впрочем, и с достоянием целой страны в ее совокупности) не было и быть не могло за весь период французской революции, потому что ни Робеспьер при своей мелкобуржуазности, ни Наполеон Бонапарт, нарочито об'являвший себя блюстителем интересов собственности, не шли, несмотря на все пагубные стороны терроризма одного и военного авантюризма другого, до такой степени вразрез с законами общественной экономики, не посягали в такой мере на хозяйственную неприкосновенность мелкобуржуазного французского большинства. Ведь, смешно и вспоминать какойнибудь якобинский закон о максимуме, имея перед собой всю эпопею экономически замордованной России!

А Россию к тому же замордовывали не только экономически. Большевицкая деспотия располагала для этого несравненно большим арсеналом средств, чем любой традиционный или даже якобинский абсолютизм. Первоначально совсем уничтожив, а затем до крайности ограничив частно - хозяйственную инициативу, монополист промышленности и крупной торговли, бюрократический аппарат деспотии мог тем легче, отправляясь от этого экономического базиса, завинчивать, сколько хотел, всю неэкономическую общественную жизнь населения, что и здесь, и даже в большей степени, чем в сфере хозяйства, не признавалась частная, независимая инициатива и безвозбранно царил всенивелирующий казенный образец. Казенными деспотия делала не только политику, школу, печать, театр, все проявления так на-

зываемой общественной деятельности, духовного творчества, но даже, где только возможно, и быт, и даже само население, которое мы можем свободно подразделить на две основные категории: казенных и казенно - обязанных.

Миллионы граждан поневоле превращались в казенных людей, в советских чиновников, ибо иного приложения сил не имелось в деспотии. Другие же десятки миллионов, вплоть до захолустных крестьян, окруженные плотной стеной плотин, опутанные густой сетью предписаний, жили лишь кажущейся жизнью якобы самостоятельных хозяйств, в этой форме лишь отбывая государственную повинность и являясь по существу казенно - обязанными жертвами всестороннего и всемерного госпланирования....

Спрашивается: похожа ли эта картина современной жизни России на робеспьеровский 93-ий год? Конечно, нисколько. Она не похожа даже на режим Наполеона Бонапарта, который кажется по сравнению с этой азиатской казармой идилично свободным.

Но отсюда, из этого сопоставления двух революций, ясен и вывод. Если реакция против французского революционного хаоса, от которого страдали имущество и личность французского крестьянина и французского буржуа, нашла свое адекватное выражение в империи Бонапарта, то реакция против десятилетней удушающей деспотии большевизма может быть только: раскрепощение частнохозяйственного и далее — всякого общественного почина. Русский многомиллионный мелкий буржуа - производитель будет искать не новой диктатуры, а некоторых гарантий против всякой диктатуры, некоторого государственного закрепления общественной самодетельности.

Это, конечно, весьма немного. Програмная директива центральной фигуры грядущей эпохи, коллективного мелкого буржуа, если брать ее в этих пределах — край-

не скромна. Но нам было существенно важно в наших предположениях не гадать о мыслимом максимуме, а наметить тот предполагаемый крайний минимум, ниже которого едва ли сможет спуститься такая директива. На этом минимуме она будет по необходимости крепко стоять, ибо этот минимум есть только голое выражение того, без чего не в состоянии обойтись процесс ликвидации деспотии, что продиктовано как субъективными стремлениями обжегшейся на деспотии мелкобуржуазной массы, так и объективно непреерекаемыми требованиями экономики, ставящей в случае их неисполнения под угрозу само дальнейшее бытие России, как единого и независимого государственного целого.

Но если этот минимум экономического и политического либерализма, составляющий содержание мелкобуржуазной реакции против большевистской системы властвования, нас до известной степени страхует от перспектив так называемого бонапартизма, точнее — от всякого рода непризнающей конституционных начал диктатуры (я отвлекаюсь, разумеется, от эпизодических приводящихся случайностей переходного времени), то не следует, однако, забывать, что он, к сожалению, не застраховывает от той параллельной или вернее — его перекрещивающей тенденции, которая, как мы знаем, тоже имеет своим источником большевизм, а именно — от реакции против социализма и пролетариата, от своего рода реванша торжествующей буржуазности.

Этой подчеркнутой агрессивной буржуазностью будет несомненно насыщена эпоха, следующая за падением большевиков. Мы ни мало не собираемся преуменьшать значение этого лейтмотива предстоящего нам перелома. Мы только полагаем, в отличие от многих, что даже и такая агрессивная буржуазность — в характеристических нами условиях ликвидационного периода большевизма — окажется вынужденной находить удовлетворение своим претензиям не в бонапартистско-фашист-

ских безответственных методах действия, а в рамках представительных учреждений и конституционных свобод. И она тем легче сможет наложить на себя это ограничение, что ни эти свободы, ни представительные учреждения не окажут скольконибудь серьезного противодействия проявлению ее владычества. Мне думается даже, что если бы в силу каких-нибудь обстоятельств, сейчас не поддающихся нашему предварительному учету, в послебольшевистской России образовалась демократия, то все равно и эта демократия оставила бы, по крайней мере на первых порах, свободными руки этой агрессивной буржуазности. Ибо эта демократия — в лице своего крестьянско-мелкобуржуазного большинства, т. е. реального большинства России, была бы — и этим мы обязаны большевикам — также заражена антисоциалистическим и антипролетарским духом.

Мы видим, таким образом, что наше отрицание наличности так называемой бонапартистской опасности никоим образом не настраивает нас на оптимистический лад, не заставляет смотреть в наше будущее сквозь слишком розовые очки. Мы, напротив, готовы всячески бить тревогу и этой нашей социалистической тревогой в значительной мере внушена настоящая критика политической линии официального меньшевизма.

Уже из того, что нами до сих пор было сказано для характеристики послебольшевистской эпохи, явствует, перед какими огромными трудностями будет находиться социалистическое пролетарское движение. А мы ведь коснулись этой эпохи лишь постольку, поскольку речь шла о выявлении основных мотивов общественной ориентировки главного деятеля эпохи — крестьянско-мелкобуржуазной среды. И мы брали при этом эту среду условно, как недифференцированную, как единую массу. На самом же деле, на этом фоне жизнь явит собою гораздо более сложную, запутанную и противоречивую картину общественных сил и общественных отношений.

И это делает, быть может, еще более тернистым предстоящий социалдемократии путь, чем это представляется на первый взгляд, и пред'явит к ее политическому разуму требования, во многом отличные от тех, которые пред'являлись ей раньше и с которыми она до сих пор привыкла оперировать.

Так, несомненно, с одной стороны, этой дифференциацией крестьянско - мелкобуржуазной среды определится содержание борьбы, которая явится центральным нервом эпохи — борьбы за демократизацию России. В то время, как более имущие элементы из этой среды, сливаясь с подрастающей средней и крупной буржуазией, будут отстаивать всяческие прерогативы владения и недемократические методы утверждения порядка, недемократические формы государственной власти, — менее имущие будут бороться против них за расширение всенародных конституционных прав, слагающихся в соответствующие партии.

Но, с другой стороны, так же несомненно при этом и то, что, не взирая на эту борьбу, раздирающую между собой крестьянско - мелкобуржуазных антагонистов их друг с другом будет все же об'единять, как проклятое наследье большевизма, — чувство недоверия и вражды ко всему, что исходит от социализма и пролетариата, чувство отталкивания от социалистических партий. Таким образом, демаркационная линия между буржуазной демократией и демократией социалистической окажется гораздо более отчетливо выраженной, чем это, в данный исторический момент, предполагалось бы действительной противоположностью классовых интересов. И соответственно этому социалдемократия, лишенная необходимого пополнения из данного запаса, столь обычного для социализма других стран, — из необ'ятного резервуара сил крестьянско мелкобуржуазных, — рискует оказаться не только без достаточного притока новых адептов и новых попутчиков, но и без единствен-

ных в послебольшевистской России возможных для нее союзников.

Ей угрожает опасность «блистательной изоляции» как раз тогда, когда эта опасность может стать для нее особенно чувствительной, потому что и сам главный общественный устой социалдемократии, потомственный почетный социалист - пролетариат, обещает выйти из многолетней большевистской выучки надолго размагниченным, утратившим вместе с иллюзиями большевизма и вообще свое социалистическое лицо, свое исконное призвание борца за лучший общественный строй.

Во всяком случае, как бы ни расценивать эти зловещие предзнаменования большевистской эры, ясно одно: социалдемократия после падения большевиков, как и вообще русский социализм во всех его видах, не может уже более рассчитывать на повторение неповторимых пропорций буржуазных и социалистических величин, которыми баловал русские социалистические партии революционный 17-ый год. Этот мираж развеян, как дым, и надо иметь теперь мужество осознать, что социалдемократия идет навстречу жестокой и длительной девальвации, навстречу исторической обстановке без благоприятного для нее общественного резонанса и с пролетарским уменьшенным и поколебленным базисом. В условиях же такой кон'юнктуры перед ней во весь рост встает двоякого рода опасность — либо быть загнанной на положение невлиятельной секты, устраненной или устранившей себя со столбовой дороги борьбы, основного русла общественного движения эпохи, либо — себя потерять, растворившись без остатка в демократическом блоке, не сумев себя отстоять в формирующейся комбинации сил.

Я не имею в настоящий момент возможности детально обследовать данную тему. Сейчас я поэтому лишь отмечу в немногих словах, что эта двоякого рода опасность есть на самом деле единая опасность; опасность, об'единенная единством происхождения: один полюс ее неиз-

бежно рождает другой, и сектантский уклон сегодняшнего дня чреват противоположным уклоном на завтра. Ибо и тот, и другой не умеют и не желают научиться примирять в одной равнодействующей двух одинаково необходимых заданий социалдемократии: самостоятельности ее движения и координированности ее действий с союзными силами

И соответственно этому и тот комплекс идей, который, являясь пережитком революционного максимализма в современной меньшевистской среде, будет оперировать с представлением о буржуазии во всех ее разновидностях, как о единой реакционной массе, и пытаться в новой ультра-буржуазной исторической ситуации повторить *mutatis mutandis* лозунг 17-года «от энесов до большевиков», непременно найдет свою Немезиду в роковой тенденции многих из своих сочленов к фактической ликвидации самостоятельной социалдемократии. Ошибочность исходного положения будет мстить за себя ненужным и нелепым выбором между вполне законным партийным «патриотизмом» социалдемократического движения и непосредственностью гражданского чувства перед лицом демократической борьбы.

А между тем, положение социалдемократии и в обстановке буржуазного реванша, если только отвлечься от внутри нее самой находящихся причин ее недомогания, будет хотя и трудное, но отнюдь не безнадежное, не обреченное заранее на прозябание секты. С уменьшенными силами, она сможет все же медленно, но верно, начать опять свое партийное восхождение— укреплять и расширять свою главную пролетарскую основу и, одновременно пробивая брешь в стене враждебности и недоверия, постепенно завоевывать себе влияние и в беднейших слоях крестьянско-мелкобуржуазной среды.

Но для этого, кроме целителя времени, ей еще потребуется предварительно большая работа над собой — работа оздоровления. Ей предстоит решительно и без-

поворотню освободиться от своих пережитков революционного максимализма. И прежде всего—как *conditio sine qua non* — ей предстоит занять твердую, определенную, без шатания, боевую позицию в отношении к большевизму и его власти.

Не подлежит сомнению, положение социалдемократии на протяжении всей послебольшевистской эпохи будет в значительной мере предопределяться тем, какое место социалдемократия займет, какую роль сумет сыграть в процессе ликвидации диктатуры, захочет и сможет ли она, с первого же дня окончания депрессии и пробуждения общественной активности, вложиться в движение против диктатуры, усиливая всем своим еще сохранившимся весом демократическую часть движения и, сколько возможно, передвигая его стрелку в направлении интересов широких народных слоев.

ГОТОВ ЛИ МЕНЬШЕВИЗМ К ПРЕД- СТОЯЩЕЙ ЕМУ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКЕ ИСТОРИИ?

(Статья Дана к десятилетию революции, как симптом обратного. Размышления Дана о русской революции в ее международном значении. Слабость Интернационала по отношению к большевизму и в чем ее питательный источник? Мое обращение к меньшевикам.)

Захочет и сможет ли она? В глубине души, не смотря на всю мою критику, меня не покидает надежда, что она это сделает, что она найдет в себе достаточно внутренних сил, чтобы переучиться у жизни, которая беспощадно, хотя и неторопливо расправляется с иллюзиями; надежда, что подпочвенные, подсознательные ручейки свое дело в конце концов сделают и что момент перехода от полосы общественной инерции к активности и подъему застанет ее перевооруженной и способной к ориентировке в новых условиях борьбы....

Но должен признаться, что этот мой оптимизм подвергается порой серьезному испытанию и что не далее, как почти на днях Ф. И. Дан вызвал во мне своей юбилейной статьей, посвященной десятилетию революции 17-го года, прилив совершенно иного порядка эмоций и мне пришлось к моей величайшей досаде зарегистрировать, что жизнь до сих пор не заставила моего старого товарища и ныне лидера партийного большинства, сдви-

нуться хотя бы на один только шаг со своих прежних позиций эпохи революционного кризиса и развернутого максимализма.

Максимализм — слов нет — выветрился, потускнел, потерял окончательно свою точку опоры в послевоенном хаосе, который был принят за начало социальной революции и, тем не менее, оказывается (в который уже раз!), что идеология, обязанная своим проникновением в меньшевистские круги этому максималистскому толчку, сохраняет свою неприкосновенность в полности, что «курилка» безумных лет, не смотря на все им испытанные ущербы и на все отрезвляющие впечатления последнего десятилетия, все еще «жив» и по прежнему не собирается перебираться в архив истории.

Я постараюсь это показать, извлекая из статьи Ф. И. Дана несколько образцов такой идеологии, дающих мне благодарный повод пополнить некоторые пробелы в моем споре с партийным большинством меньшевизма.

Ф. И. Дан говорит о «симптоматическом» в «мировом отношении» значении «факта пролетарско-социалистического возглавления» русской революции, происшедшим не смотря на то, что отсталость социально-экономического развития России замыкала революцию «в рамки буржуазного уклада». Этот факт возглавления «свидетельствует», де, о том, что русская революция «действительно протекает на грани двух эпох, когда в падении притягательной силы буржуазной идеологии для широких масс сказывается падение самой буржуазии, как носительницы мирового прогресса, когда во всех передовых капиталистических странах историей поставлена на очередь дня великая решающая борьба между буржуазией и пролетариатом» и т. д. и т. п. И наконец, этот же факт, де, свидетельствует о том, что в самой русской революции заложена тенденция «дойти до крайних пределов возможного в буржуазном обществе»

и что «освобождающееся буржуазное общество становится той почвой, на которой русский пролетариат тотчас же без передышки развертывает классовую борьбу за конечное освобождение»... (Соц. В. № 5-6 за 1927 г. ст. «Десятилетие революции».)

Почти через десять лет после октябрьского переворота эти юбилейно парадные размышления Дана звучат для моего слуха нестерпимой насмешкой над действительно трагическим смыслом русской революции 17-го года

Ведь, кажется, этот десятилетний опыт неопровержимо показал, что если в данной злополучной революции, рожденной в войне (а в этом и заключалось ее величайшее несчастье) была и в самом деле «заложена» какая-то «тенденция», то это, к сожалению, не тенденция — «дойти до крайних пределов возможного в буржуазном обществе», а наоборот, тенденция — неудержимо быстро скатиться к старой русской традиции — к русскому деспотизму и бесправию. Этот традиционный деспотизм и это традиционное неправие только ожили в какой-то даже и для них преувеличенной степени, как только был им впрыснут — вместо мускуса — большевистский демагогический коммунизм. Конечно, коммунизм на самом то деле тотчас же, незамедлительно, поспешил испариться, но новый деспотизм остался, расположившись в России привычно, как у себя дома, «всерьез и надолго»!...

«В новизне твоего царствования нам старина наша слышится» — когда то говорили старообрядцы, обращаясь к Александру II. Теперь этим приветствием может осчастливить новомодную власть любой старомодный Аракчеев. И я бы его понял! Но я не понимаю Ф. И. Дана, который произносит то же что то вроде приветствия, усматривая в «возглавлении» данной революции во первых, пролетарско - социалистический характер, во вто-

рых — симптом сумеречности капитализма и упадочности буржуазии.

Точно он не знает или не хочет знать, что не случайно «возглавление» революции меньшевиками и эсерами, при всех их возможных ошибках, политически и морально столь непохожее на большевистское, оказалось скоропреходящим эпизодом, а «возглавление» ее большевистской деспотией составило целую эпоху.

И точно теперь, по прошествии 10 лет, еще уместно напоминать о пролетариате, как о некоем «возглавителе», а не как о злосчастнейшей жертве величайшего исторического недоразумения. И, разумеется, не о близости конца капитализма и падения престижа буржуазности свидетельствует подобное десятилетнее возглавление. Оно только окольный путь к вящему торжеству, как я старался показать, все той же буржуазности, которой сейчас исподволь насыщается атмосфера современной официальной и неофициальной России. Нечего сказать, хорошо свидетельство, которое может быть выдано социализму только капиталистически наиболее отсталой страной и которое меньше всего осуществимо — в образе правительства коммунистического меньшинства — как раз там, где капитализм наиболее развит и борьба труда с капиталом наиболее подвинулась вперед!

В этой связи, мне думается, было бы гораздо более кстати вспомнить о неоднократно уже бывших в истории городских коммунистических спутниках крестьянского революционного движения (скажем — на рубеже средневековья в Германии), чем всеу апеллировать к приближению социальной революции.

Да, конечно, капитализм на ущербе и рабочий класс в некоторых европейских странах сможет, вероятно, в недалеком будущем оказаться у власти, как представитель большинства населения. Но какое — спрашивается — имеет это отношение к тому, что мало того что в

России, но даже и в какойнибудь азиатской или африканской деспотии — рядом с аэропланом и автомобилем появится также и продукт европейского социального творчества, европейской социальной эволюции? И этот продукт применительно к уровню местной культуры будет переделан, как, пожалуй, не переделаешь ни аэроплана, ни автомобиля, переделан так, что от него останутся «рожки да ножки».

Я с нетерпением жду, когда какойнибудь почти зулусский царек (или коммунист, пришедший на смену этому царьку) введет у себя так называемую «советскую систему» и объявит по своему государству обязательным коммунистическое богослужение. Это будет только доведение до абсурда того, что случилось в России, или вернее — русский абсурд, возведенный в квадрат. Что же, может быть, и этот гипотетический, — впрочем, если судить по международной политике советской России, alias Коминтерна, то и не невозможный случай, — может быть, и он указывает на близость социальной революции и ущербленность буржуазии? может быть, и он представляет ценность «симптоматическую»?

Шутки, однако, в сторону! Приобщение к капиталистической цивилизации со всеми ей свойственными противоречиями и социальными антагонизмами народов совсем другого уклада, других традиций, другой цивилизации ставит на очередь дня отнюдь не проблему приближающегося социалистического строя в мировом масштабе, а скорее обратно — проблему укрепления новых разновидностей капитализма, своеобразных политических форм, которые могут создаться от сочетания разнородных культур, нередко давая при этом повторение с соответствующими вариациями того маскарада, который мы уже имели несчастье познать у себя в России.

Пример России, как будто бы, говорит за то, что не следует переоценивать способности экономически и

культурно отсталых стран перескакивать через последовательные этапы развития и при помощи политической рационалистики с места в карьер лететь к призовому столбу социализма, догоняя и перегоняя самые передовые народности, ибо по ближайшем же рассмотрении оказывается, что все это самообман или обман: мертвый хватает живого: и косное, упрямо - консервативное бытие превращает в свою собственную противоположность любое, забежавшее вперед сознание, и любых, самых неистово - революционных рационалистов. Думается, поэтому, что и национально - капиталистическое пробуждение других континентов сулит на долгое время для будущей социалистической Европы (которая также еще неизвестно когда вылупится целиком из прогресса истории) не расширение социализма до планетарных размеров, а гораздо более вероятное сосуществование рядом с продолжающим еще жить и развиваться капитализмом у всевозможных неофитов цивилизации...

Возвращаясь, однако, к Ф. И. Дану, мы как раз натываемся в применении к вопросам международной политики на классический пример такой политической рационалистики, такого игнорирования «бытия» в угоду «сознанию».

Русская революция, по его мнению, не только симптом приближающегося конца капитализма, она в то же время, хотя и буржуазная по своему содержанию, но представляет собою и «могучий стимул социалистической пролетарской революции в более развитых странах». «В этом именно об'ективном значении — говорит он — русской революции, как первостепенного фактора мировой пролетарской борьбы, — источник проявлений столь широкими рабочими массами всех стран психологической готовности принимать на веру все иллюзии и утопии большевизма и закрывать глаза на его преступления. Но в нем же оправдание того классового чутья, которое заставляет весь мировой пролетариат без раз-

личия партий защищать русскую революцию от всяких покушений мирового капитала.»

И конкретизируя свою мысль, Дан ссылается на рассуждение покойного Мартова на тему о том, что «совсем иначе могли бы сложиться судьбы революционной Германии, в которой у власти встало социалдемократическое правительство, если бы во главе русской революции стоял в то время не большевизм».... «Достаточно представить себе — заключает Дан, — то могучее воздействие, которое и сейчас могла бы оказать на под'ем мирового рабочего движения подлинно «рабоче - крестьянская» революционная Россия..., чтобы понять, как правильна эта мысль Мартова и до какой степени самые кровные интересы не только русского, но и международного рабочего движения требуют демократической ликвидации исторически переживавшей себя большевистской России».

«Достаточно представить себе!» Но это и можно теперь себе представить только в том случае, если счесть большевистское десятилетие просто за скверный анекдот, ниспосланный судьбой бедной России в виде злодейски гениального Ленина, своей железной рукой радикально изменившего курс исторического корабля. Стоит, однако, рулю оказаться опять в руках благомыслящих рационалистов, чтобы анекдот из скверного сделался добрым и можно было бы опять, как ни в чем ни бывало, по старинке, дебатировать на тему все о той же «рабоче - крестьянской», да к тому же еще и «революционной» России!...

Конечно, и тогда, когда Мартов мечтал о поддержке такую Россией революционной Германии, э т а Россия, как мы знаем теперь, жила лишь в воображении наших энтузиастов интернационализма. Россия же реальная во все моменты 17-го года, благодаря войне, разорению и всему своему историческому наслeдству, имела к несчастью одно лишь роковое предначертание —

оказаться в конце концов оседланной демагогическим деспотизмом. Но если для Мартова служит все же некоторым оправданием близость его высказываний к моменту революционного хаоса, то теперь в глухое время общественного затишья, в десятый юбилейный год, продолжать тянуть все ту же старую песню, — является совсем уже не позволительным делом для реалистически мыслящего марксиста.

И так же непозволительно рассуждать, — отвлекаясь от большевистского десятилетия, точно оно не имеет органической связи со всей революцией 17-го года, являясь ее историческим тупиком, — об объективном значении этой революции, как могучего стимула революции пролетарской-социалистической. Непозволительно особенно тому, кто весь большевистский период, вплоть до сегодняшнего дня, обязательно включает в рамки самого революционного процесса.

Именно сейчас, в юбилейный год, подводя итоги десятилетию и составляя баланс международного влияния русской революции с ее истоками, мы вынуждены с болью сердца установить огромное преобладание отрицательных влияний над влияниями положительными. Достаточно с этой целью хотя бы первоначальному возбуждающему действию от известий о русских событиях противопоставить все зло от держащихся еще до сих пор в Интернационале иллюзий о пролетарско-социалистическом характере большевистской деспотии, весь тот идущий из советской России подрыв идеи демократии и демократических свобод в рабочих массах, всю ту деморализацию, которую вносит в среду международного рабочего движения Коминтерн, раскалывая пролетариат и подкрепляя свою раскольническую агитацию растлевающим звоном казенного российского золота. Наконец, то, что происходит в последнее время в Китае, убедительно свидетельствует нам и о том, как помощь со стороны большевизированной «революци-

онной» России становится величайшей помехой национальному движению Китая, его борьбе за свою независимость...

Предание когда то рассказывало, что где проходил вождь гуннов Аттилла, там — трава не росла. До некоторой степени это можно сказать и о международном значении большевистского завершения русской революции для социализма и рабочего класса. Где только большевизму ни удастся пустить свои корни, там обязательно рабочее движение терпит серьезный урон и требуется всегда чрезвычайная затрата времени и сил пролетариата, чтобы возместить этот урон и свести на нет подрывную деятельность Коминтерна. А, ведь, Коминтерн, т.е. советская власть, — это, по признанию того же Дана, и есть самая настоящая русская революция, которую мировой пролетариат защищает от мирового капитала...

Защищает и только? Защищает, тем самым подтверждая, что гнуснейшая из современных деспотий революционно - миропомазана, что она — русская революция в своем продолжающемся действии, а не отрицание этой революции, уже имеющееся на лицо, подготовленное процессом истории, хотя и далеко еще не законченное! Я понимаю, что можно и деспотию защищать против посягательств мирового капитала. Точнее говоря, защищать страну, имеющую несчастье управляться деспотией. И я бы понял эту защиту, свободную от иллюзий и недоразумений, и целиком бы ее санкционировал, ибо полагаю, что всякое насильственное вмешательство держав в назревающую внутри России развязку было бы крайне опасно и вредно по своим неизбежным последствиям для России и ее трудящихся масс.

Но я бы понял такую защиту в том случае, если бы она, как необходимым условием, дополнялась тем, что гораздо более относится к непосредственным обязанностям Интернационала, чем защита деспотии. Если важ-

но и нужно Интернационалу в известных случаях защитить даже и деспотию, то бесконечно нужнее и является его прямым и священным долгом — защитить честь и достоинство социализма и пролетариата против поругания, им уготованного той же деспотией, ее лжесоциалистическим и лжепролетарским правительством.

Здесь нужен организованный поход! Но поход против этой лжи, позорящей мировое пролетарское движение и — именем пролетариата — держащей в своих лапах разбитую, дезорганизованную и одурманенную великую страну, — это не тот микроскопический паллиатив, с каким, наконец то, так запоздало, уже только на десятом году функционирования деспотии, собирается выступить Интернационал в виде посылки в Россию комиссии для расследования вопроса о политических заключенных!

Ах, все это хорошо и уж разумеется лучше, чем тот круглый нуль, который был до сих пор! Но ведь дело то по настоящему идет о чем то бесконечно большем, чем даже судьба социалистов, заключенных в советских тюрьмах! Дело идет о том, чтобы стереть с мирового движения то клеймо, которое наложило на него его двусмысленно-оправдательное и не политически, ни морально не могущее быть оправданным, отношение к преступлениям деспотии. За это отношение ему уже приходится и еще больше придется расмачиваться чрезвычайно дорогою ценою.....

Но в час расплаты — я сильно опасаюсь — придется, быть может, вспомнить, что двусмысленность Интернационала имела свою точку опоры и свой питательный источник в ставшей традиционной двусмысленности русских меньшевиков. Ну, как же в самом деле не верить Интернационалу показаниям непосредственных свидетелей и даже жертв деспотии?!

Что думает об этом мой старый товарищ Ф. И. Дан? Или душа его на этот счет совершенно спокойна?....

Мне же всем моим нынешним спором, моим критическим окриком захотелось как раз потренировать такое спокойствие, — официальное спокойствие официального меньшевизма!

Ибо, воистину, с идейным багажом из эпохи войны и революции нельзя вновь вступать в полосу общественного под'ема, которой суждено, конечно, рано или поздно, придти на смену депрессии.

Меньшевизм уже не в состоянии более, под риском политической смерти, позволить себе роскошь повторить свои прежние ошибки революционных лет и, вместо того, чтобы, в момент перелома, занять твердую и определенную позицию в первых рядах борцов за демократию и против абсолютизма большевиков, — как и встарь продолжать свой двусмысленный — и без взаимности — флирт с большевизмом, болтаясь где-то в промежутке между двух лагерей!..

К сожалению, есть еще много прекрасодушных людей, которые упорно стоят на том, что все, мол, само собою образуется, и линия меньшевизма автоматически выпрямится, стоит лишь выйти из мрака подполья и безвоздушного пространства эмиграции на свежий воздух и яркий свет открытого политического действия...

Увы! опыт прошлого — провал революции — не позволяет мне слишком много полагаться на выпрямляющее действие эмпирики. Эмпирика — эмпирикой! Но с пассивной апелляцией к эмпирике далеко не уйдешь и непременно провалишься на ближайшей же переэкзаменровке истории.

Вот потому то я и возвышаю свой предостерегающий голос, голос старого социалдемократа, стоявшего у колыбели меньшевизма, и зову всех меньшевиков, где бы они ни были: по ту или по другую сторону границы, по ту или по другую сторону партийно - организационной черты, — проникнуться величайшей тревогой за дальнейшие судьбы русской социалдемократии.

Надо безотлагательно покончить с иллюзиями! Надо немедленно начинать перестройку своего идейного фронта! Надо создавать — «течение встречное против течения»!

Берегитесь пуще всего, товарищи, как бы переключка истории не застала вас врасплох, — неготовыми. Время не ждет, время скоро уже перестанет давать свои отсрочки русской социалдемократии!

СКЛАД ИЗДАНИЯ :

Société Nouvelle d'Editions Franco - Slaves
32, rue de Ménilmontant, Paris (XX^e).

T 3.881

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ



Imprimerie de la Société Nouvelle
d'Éditions Franco-Slaves,
32, rue de Ménilmontant, Paris (20^e).